Николай Вирта

КАТАСТРОФА

[illegible]

НИКОЛАЙ ВИРТА

КАТАСТРОФА

Повесть



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА · 1963

О. Диксон 1964

ЗАЧЕМ?

Об этой истории мне напомнила картина размером в страницу обыкновенной писчей бумаги. На ней с щепетильной педантичностью изображена дача в сосновом лесу под Москвой, стол с графином для воды и стаканом, скамейка и чайник, стоящий на ней.

Эту картину нарисовал и подарил мне генерал-фельдмаршал Фридрих фон Паулюс.

Мне довелось видеть фельдмаршала в день пленения и быть среди тех, кто в лютую февральскую ночь 1943 года сопровождал его на хутор Зворыгино, в штаб Донского фронта, которым командовал Рокоссовский.

Уже тогда в Паулюсе замечалось — пусть неярко выявленное — раздвоение души, но он еще твердо держался чувства долга и послушания, которым напичкал себя во все предыдущие годы, занимая видные места в военном руководстве фашистской Германии.

Затем я встречался с Паулюсом по делам в послевоенные годы. Он жил на даче под Москвой, писал мемуары о великой Сталинградской битве и причинах катастрофы шестой германской армии, приведшей в конечном счете к всеобщему поражению фашизма и его вооруженных сил. Но катастрофа армии была и душевной катастрофой ее командующего. Да, в те дни перед нами сидел совсем другой человек, с другими убеждениями и понятиями о долге.

Труден и сложен был его путь, после того как он перешагнул границу волжского «котла». Впрочем, Паулюс не скрыл и никогда не скрывал своих внутренних шатаний и разлада с самим собой. Его посмертно изданные записки откровенны до конца. Он не был объявлен военным преступником, потому что действительно не похо-

дил на многих германских генералов и офицеров, поистине извергов человеческого рода, не избежавших возмездия.

Ровно через полгода после пленения Паулюс и другие генералы встретились с Вильгельмом Пиком, будущим (а ныне покойным) президентом Германской Демократической Республики. Пик говорил с генералами, как мог говорить достойный наследник Тельмана.

Перед Паулюсом развернулась картина зверств, учиненных армиями фюрера над мирными людьми и над военнопленными в концлагерях смерти. Часто беседовал с ним генерал Зейдлиц, один из основателей сначала «Союза немецких офицеров», потом движения «Свободная Германия».

Паулюс был солдатом старой школы. Но и в нем не угасла искра человечности.

После долгой и, вероятно, мучительной внутренней борьбы он присоединился к движению «Свободная Германия».

Я знал в те дни Паулюса, изучавшего марксизм-ленинизм. Он уже говорил по-русски. Он не был угнетенным и подавленным, каким мы видели его во дворе универмага, когда он вышел из подвала и садился в свой «штейер», чтобы следовать в штаб шестьдесят четвертой армии.

Так он шел к Нюрнбергскому процессу, где народы всего мира судили отъявленных убийц, провокаторов, шантажистов.

Появление Паулюса у свидетельского пульта в Нюрнберге было подобно взрыву бомбы: фашисты объявили, что он, смертельно раненный в здании... ГПУ (ведь так нетрудно, если захотеть, переделать сокращенное название ГУМа — универсального магазина, где был последний командный пункт Паулюса — в ГПУ!), был затем якобы подвергнут пыткам и умер в муках!

Те, кто присутствовали на процессе, когда Паулюс вошел в зал судебного заседания, рассказывают, как смертельной бледностью покрылось лицо Геринга, как выпучив глаза смотрел на него Риббентроп, как судорожно что-то протявкал Кейтель.

В Нюрнберге Паулюс обвинял не только сидевших на скамье подсудимых; он обвинял фашизм и милитаризм во всех их проявлениях, в какие бы тоги они ни

рядились, какими бы лживыми словами ни прикрывались и где бы они ни существовали — на Западе или за океаном. Не называя имен, он предупреждал любого генерала, который осмелился бы грозить войной, что никому из них от ответственности не уйти.

Таким образом, громя фашистских заправил, обвиняя их в вероломстве и истреблении миллионов человеческих жизней, Паулюс предостерегал от повторения кровавых ошибок отгремевших сражений и от безумных мечтаний о реванше.

Рев реваншистов грозной волной докатывается до нас оттуда, где фашистские генералы, занявшие высокие должности (и не только в армии Аденауэра), подстрекаемые империалистами, готовят новые безумства, вовлекая в них одну страну за другой, сея злобу и ненависть, и, щелкая зубами от алчных вожделений, снова обращают свои взоры на Восток.

Не мудрено, что в Западной Германии на всех перекрестках поливают Паулюса помоями, выставляя его чуть ли не единственным виновником поражения фашистской Германии. Но брань на вороту не виснет, а правда глаза колет: признания Паулюса — громовой удар для тех, кто сейчас изворачивается, лжет, оправдывает себя в чудовищных злодеяниях и готовит новые...

Могут спросить: к чему и зачем вся эта старая история?

Затем, чтобы не только вспомнить о днях, когда наша славная армия сломала гитлеровскую машину и тем предопределила победный исход войны, но и для того, чтобы не забывали люди о зверствах, совершенных фашистами; о зверствах, перед которыми бледнеют все «подвиги» Тамерлана и прочих человекоубийц, потому что к ним снова готовятся там, где гнездятся и распространяют свою власть и влияние забывшие уроки истории реваншисты и иже с ними.

Разумеется, автор и в мыслях не держал писать широкую панораму битвы на Волге, затмившей все, что было до нее. И даже катастрофа шестой германской армии дана здесь лишь вторым планом, потому что все внимание было сосредоточено на том, чтобы вскрыть причины душевной катастрофы ее командующего фон Паулюса и морального падения кое-кого из окружавших его на последнем этапе сражения.

Короче, повесть лишь небольшая часть романа, который будет писаться позднее. Могут также спросить, сколь достоверна она. Да, разумеется, достоверна, если не считать того, что хронология некоторых событий сдвинута. Писалось не историческое исследование, а на фоне действительных событий прослеживались зигзаги души и пути человека, слишком поздно понявшего гибельность и преступность дела, которому он верой и правдой служил вплоть до часа пленения.

1. ИСТОРИЯ ПРИМЕРНОГО МАЛЬЧИКА

«...Господи, господи, как все отлично начиналось!» — думалось пожилому, сухопарому генерал-полковнику в хмурое декабрьское утро.

Ночью шел снег, а на рассвете угрюмо завыла метель. Что-то грохотало невдалеке, надрывно визжало полусорванное с крыши железо, свирепый ураган обрушивался на улицы, поземка билась о стены домов, крутились в развалинах снежные смерчи... Где-то рухнули под напором ветра подшибленные снарядами руины.

Ужасная русская зима, вторая такая же люто-холодная, зверская зима с ее метелями, пронизывающими ветрами, с надеждами и разочарованиями, победами и поражениями.

Как она не похожа на чудесную, мягкую зиму в родных местах! В отцовском доме так тепло, так все привычно — привычно с детства. Там всякая вещь напоминала о прошлом чинной семьи советника по земельным делам местного самоуправления. Вот эта ваза перешла от дедушки, из этой чашки пила кофе прабабушка, вон то изречение — «Послушание — высшая добродетель» — самолично вышил шелком прапрадедушка, доживший до преклонного возраста и занимавшийся тем, чем тешат себя иные тихие старички: либо чулок вяжут, посасывая трубочку, либо вышивают цветной ниткой и бисером полезную для дома вещь.

Нет, никто из ближних и дальних родичей советника по земельным делам не мечтал о бранной славе. И сам советник не стремился к переменчивой судьбе солдата. То ли дело размышлять над пожелтевшими от времени документами, решать мирные споры поселян, наблюдать за землеустройством, вовремя приходить на службу, вовремя уходить, а дома, облачившись в бархатную курт-

ку с облинявшими бранденбурами, пообедав в кругу семьи, раскурив пенковую трубку, доставшуюся в наследство от деда или прадеда, читать газету, восхищаться славными успехами фатерланда, мудрой политикой его величества кайзера...

Где-то в Африке идут войны; дикие туземцы, не желая пользоваться благами цивилизации, — странно, не правда ли? — восстают, хватают копья, бумеранги и — ты слышишь, милочка? — с этим оружием — ха-ха! — идут против пушек и винтовок последних образцов!

Но это где-то очень далеко. Громы колониальных войн не доносятся до стен дома советника по земельным делам, не нарушают покоя маленького Фридриха, посапывающего в колыбели.

Он родился в ясный, полный осеннего очарования день — сентябрь был на исходе, шел к концу тысяча восемьсот девяностый год.

Фридрих родился на редкость увесистым, на редкость рослым, на редкость худощавым, и таким спокойным-спокойным оказался этот младенец — гордость и счастье семьи!

«Милый Фриц, ненаглядное солнышко!» — как называла его мать, любуясь ребенком, задумчивым, с серьезным взглядом светло-серых глаз.

Отец сказал как-то, что этому мальчику суждено великое будущее. Но ведь так говорят многие и многие отцы! Мог ли папаша Фридриха думать в те времена, что сын его действительно прославится... но как?

Мальчик рос сдержанным и молчаливым. Он любил свой дом, обожал родителей, платя им за заботы и ласки преданностью и редким в его годы послушанием. Сторонясь шумных мальчишеских компаний, он часто в одиночестве бродил по старым улицам родного города, проводил время на равнинах за старинными укреплениями. Далеко на горизонте виднелись густые клубы дыма: там Кассель, большой и шумный город. Фридрих бывал в Касселе с отцом и с учениками школы — их возили туда на экскурсии.

Уличный шум, грохот повозок, людские толпы на площадях и у магазинов не привлекали Фридриха. Скорей домой, в тень каштанов, в поля, где так просторно и так легко дышать!

Да, это был необыкновенный мальчик! Он отличался

скромностью, редко шалил, педантично соблюдал правила, установленные им для самого себя: аккуратно разрисованная виньетками бумажка с точным распорядком дня висела над его кроватью с того часа, когда он пошел в школу, и до часа ее окончания. Его прилежность, аккуратность и опять-таки послушание были предметом восхищения. И насмешек. Насмешки Фридрих презирал, восхищение принимал как должное. Педагоги хвалили его. «Вот примерный немецкий мальчик, — говаривали они. — Как он послушен!»

Конечно, озорники и неслухи не жаловали Фридриха, зато родители и близкая родня души в нем не чаяли.

«Ему следует заняться правоведением!» — так было решено на семейной коллегии. Члены коллегии опирались при этом на выдающиеся способности юноши в оценке некоторых городских событий, на здравость суждений о проблемах, отвлеченных и для многих мало понятных.

Фридрих отлично сдал экзамены в Нарбургский университет: его имя и фамилия среди самых прилежных и аккуратных студентов этого почтенного заведения... Впереди (так думалось родителям) спокойная, деловая карьера... Отцу мерещился министерский портфель в руках сына. Мать, женщина более скромная, мечтала видеть Фридриха послом при каком-нибудь европейском дворе. И вдруг...

Этого шага Фридриха сначала кое-кто из близких не хотел понимать. Родственники покачивали головами: «Наш Фридрих, презрев ожидавшие его выгоды, — ах, боже мой, вот неожиданность! — решил — вы слышите? — поступить в военное училище!»

Впрочем, суд-пересуд окончился довольно быстро. Отец Фридриха, как и подобало каждому верноподданному его величества кайзера, на всякий военный мундир смотрел с подобострастием.

— Герр обер-лейтенант звучит еще более приятно! — величаво! — умиленно сказал он.

— Герр обер-лейтенант звучит еще более приятно! — вторила мужу мать Фридриха.

— От обер-лейтенанта до генерала, — мудро покачивая головой, соглашался отец Фридриха, — совсем недалеко!

Родители трепетали от предвкушения той великой минуты, когда они увидят свое дитя в блистающих лаком сапогах до колен, в мундире с золотым шитьем, в каске с лошадиным хвостом позади, с саблей на боку... Вот он гусиным маршем проходит по плац-параду, и сам кайзер любуется выправкой молодого офицера и железным строем его солдат: эк лихо они отбивают ритм под звуки марша! Ликующая толпа мещан, так обожающая парады, блеск эполет и конской сбруи, грохот орудийных запряжек, — толпа рукоплещет, рукоплещет, конечно, прежде всего Фридриху!

Отец Фридриха недоумевает: и как это могло случиться, что он некогда ратовал за какое-то там правоведение, лелеял в мечтах какую-то там спокойную, деловую карьеру? «Нет, отлично, сынок! Военная служба — дело чести каждого немца! Не забывай славные дни Фридриха Великого, вспомни Седан, доберись-ка еще разок до развратного Парижа, где только и мечтают, как бы вернуть Эльзас и Лотарингию и тем унизить великую германскую империю, не имеющую себе равной ни в патриотической преданности кайзеру, ни в мощи военных сил, ни в богатстве колоний! Право, стоит еще раз задать хорошенькую трепку этим вымирающим французишкам, этим недоноскам человеческого рода, мнящим себя — вы слышите? — великой нацией! Второй Компьенский лес был бы славным напоминанием для них!..»

Молчаливый Фридрих хранил про себя свои мысли. Впрочем, кто знает, быть может, и он думал так же в те далекие времена, когда вышел из военного училища в чине лейтенанта.

«Мамочка, наш сын лейтенант! Повесь-ка его портрет вот сюда! Нет, пусть висит вот здесь, тут он виднее!»

Фридрих муштровал сначала солдат своего взвода, потом артиллеристов батареи одного из пехотных полков его величества, требуя послушания, послушания и еще раз послушания, потому что и сам на военной службе отличался этим же качеством характера.

— Раз-два, раз-два! — звучит его несколько приглушенная команда. Солдаты, вытягивая ноги чуть ли не до носа, проходят строем перед молодым командиром.

Фридриху повезло: война сразу сделала его командиром роты. Потом он полковой адъютант в частях Западного и Балканского фронтов. Он уже обер-лейтенант — и еще одна фотография появляется в доме советника по земельным делам. Правда, она не столь пышная — ни лакированных сапог, ни золотого шитья на мундире. Длиннополая, сильно помятая шинель, не слишком теплая и не слишком удобная железная каска, щетина на лице: походы, походы, тяготы войны...

Отец и мать вздыхают. Да, война, к несчастью, окончилась далеко не так, как мнилось почтенным патриотам фатерланда... Ах, кайзер, как ты подвел нас! Ах, эти страшные красные, как они подвели в тылу великих Гинденбурга и Людендорфа! Еще бы месяц... Еще бы две недели продержаться армии, и, быть может, все окончилось бы по-другому... Но Германия рухнула, и в Компьенском лесу не кайзер, как это было сорок восемь лет назад, поставил на колени Францию, а союзники заставили Германию капитулировать...

Возмездие застало Фридриха в чине капитана; он был прикреплен к генштабу. Тогда ему еще не думалось, какую роль сыграют недолгие годы, проведенные им в тихих штабных комнатах...

Потом он уходит в тень. Уходит, зная, что настанет время и его позовут...

И ведь позвали!

С усмешкой думал Фридрих, сколь все изменчиво в этом мире. Вчерашние враги Германии, такие жестокие и непреклонные, потихоньку-помаленьку сообразили, что, лишая Германию военной мощи, они теряют грозного союзника в борьбе с тем ужасным, что заревом пылает на Востоке, в разгромленной, почти погибшей, начисто ограбленной России, вздымающейся из пепла, подобно фениксу.

Мрачная улыбка появляется на сухощавом лице тридцатилетнего капитана, когда он получает повестку с приказом явиться в военное министерство, в то самое министерство, которое Версальским договором было признано навсегда, на веки вечные преданным забвению, равно как и генеральный штаб, это злодейское чудовище, это змеиное гнездо, где вынашивались планы порабощения мира.

Но великое зарево переметывается в Европу. Оно взвивается над Венгрией. Оно пылает над Баварией. Оно влечет к себе миллионы тех, кто хочет повернуть колесо истории. Оно заставляет дрожать великих мира сего: им уже мерещится мировой социальный пожар. И так естественно, что капитан переходит из своего кабинета в военном министерстве в один из кабинетов генерального штаба... Увы, ничего вековечного не бывает. Те, кто ликвидировали змеиное гнездо, те же и свили его...

В 1929 году еще один портрет появляется на самом видном месте в доме советника по земельным делам: их Фридрих подполковник, их Фридрих — вы слышите? — преподает военную историю и тактику в академии генерального штаба!

Преподает историю... Вспоминает времена великого Фридриха, Седан, Верден, позор капитуляции... Начиняет головы слушателей тактикой. Все ошибки верховного главнокомандования ему ясны: они не повторятся, никогда!

2. ПРОХВОСТ НА СЦЕНЕ

И вот откуда-то из смрадных глубин на сцену человеческой трагедии, трусливо озираясь и принюхиваясь, выползает личность, почуявшая дыхание времен и понявшая, какую сногсшибательную карьеру можно сделать на реваншизме. Этот прохвост, сначала шепотком, а потом все громче начинает твердить, что времена измен и продажности не повторятся:

«Пусть не надеются наши враги, что они смогут воскресить восемнадцатый год! Это исключено: национал-социалистское руководство вышло из массы, хранит запах этой массы. Перед ним стоят великие политические и военные задачи. Оно будет бороться дипломатией и оружием за пространство, в котором нуждается Германия для обеспечения своей национальной жизни. Это пространство — Восток!..» Так говорил худощавый человек с клоком волос, небрежно свисающим на лоб, с угрюмыми глазами и чернявыми усиками под хищным носом.

Фридрих был не слишком увлечен визгливыми ре-

чами фюрера фашистов. Сколько раз он слышал подобную же демагогию! И не спешил с выводами, тем более что в генштабе отлично осведомлены, из какой мерзкой бездны выполз вертлявый полуистерик: он то появлялся на политическом горизонте, то исчезал; то устраивал какие-то путчи, то уходил — либо в тюрьму, либо в ничто.

Его прошлое?.. Респектабельные штабные офицеры морщили носы, когда речь заходила об Адольфе Гитлере. Помилуйте, да разве можно иметь дело с каким-то проходимцем? Рассказывали, будто этот самый тщедушный малый с такими смешными усиками, какой-то безвестный ефрейтор, да к тому же австрияк, в свое время был просто-напросто шпионом Рема, политического советника генерала Эппа, знаменитого расправой с Баварской Советской республикой.

Рему было поручено следить за многочисленными политическими партиями Баварии. Но не самому же генеральскому советнику шляться по кабакам и клубам, слушая споры бюргеров? Рем выкопал Гитлера. Гитлер вел нищенскую жизнь, а за шпионство Рем платил. Гроши платил, но все-таки платил. Гитлер усердствовал. Ему стали платить больше.

Рему не терпелось сколотить такую партию, которая бы во всем и всегда подпевала рейхсверу. Ложью, подкупами Гитлер свергнул вожака некой партии, законами которой были слепое подчинение вождю и уважение к верховному командованию рейхсвера. Став «главой» партии, Гитлер холопски кланялся любой, самой незначительной шишке в рейхсвере.

Его заметил сам Эпп. «Молодой человек весьма усерден! — сказал он как-то Рему. — Его стоит поддержать!»

И вот Гитлер получает не очередную подачку, а крупный куш: ему покупают газетенку «Фолькишер Беобахтер» — она становится рупором новой партии. Проходит год, другой, третий, партия бурно растет на дрожжах шовинизма, антисемитизма и реваншизма; она уже гремит по всей Германии, режет, убивает, загоняет противников в подполье...

В генштабе, где сидели люди знаменитых немецких фамилий, плоть и кровь военной касты, высшая военная аристократия, — в генштабе презирали любого выскоч-

ку. Тем более с грязным прошлым. Правда, кое-кому были по душе некоторые идеи фюрера фашистов.

— Вы читали, что пишет этот грязный тип? — спросил Фридриха один из его сослуживцев. — Черт побери, ему не отказать в проницательности.

Фридрих взял книгу и прочитал отмеченное место: «Мы переходим к политике будущего, к политике территориальных завоеваний. Но если мы в настоящее время говорим о новых землях в Европе, то мы не можем в первую очередь не думать о России и подвластных ей окраинных государствах...»

Фридрих вернул книгу молча. Он не выразил своего мнения. Посмотрим! Конечно, идея правильная, но очень уж откровенно пишет этот тип... Вообще слишком много скандальных историй вокруг него, слишком много воплей, истерических выкриков, каких-то бредовых планов, крови, гиканья обезумевших толп... Все это не для сдержанного, неторопливого склада характера Фридриха. Он подождет со своими заключениями. Да, подождет. И продолжал занятия в академии. Военная история... Тактика... Он далек от политики. Он не был вхож в дома высшего офицерства рейхсвера и магнатов промышленности. Ему, разумеется, не сообщили, что, пока в генштабе подсмеивались над «фюрером маньяков», семь германских финансовых воротил — короли угля, металлургии, банков, химии — передали Адольфу Гитлеру десятки миллионов марок для его партии. В этой «темной лошадке» они приметили такое, что им мерещилось во сне и наяву: он умеет влиять на психологию толпы, он демагог, каких поискать; обещая всеобщую справедливость и обрушиваясь на «плутократов», он не даст в обиду отечественную финансовую силу. И он справится с непокорными рабочими массами Германии, он их обуздает!

В шаткие дни 1933 года, когда многотысячные демонстрации на улицах Берлина, Дрездена и других крупнейших городов требовали раздавить фашизм и не пускать Гитлера к власти, магнаты Германии нажали тайные и явные пружины, чтобы помочь Гитлеру вырвать власть из рук престарелого Гинденбурга и подавить «коммунистическую чернь»... Но и они и Гитлер отлично понимали, что фашистской партии это не под силу.

Магнатам, купившим Гитлера, и самому Гитлеру нужны были генералы рейхсвера. И они пришли к нему. Потому что рвались к реваншу, потому что им снилась и виделась война. Сначала раздавить «гниющий» Запад, затем обрушиться на «большевистский» Восток. А то, что Гитлер тоже спал и видел войну, не было ни для кого секретом. Разве не написано об этом черным по белому в библии нацизма, сочиненной фюрером? Разве он при каждом удобном случае не исторгает вопли о большевистской опасности? Разве скрывает свои реваншистские устремления?

Молчаливый Фридрих замечал поразительные перемены в настроении чинов генштаба. Аристократы уже не подсмеивались над фюрером. Выходцы из самых знаменитых военных фамилий не вспоминали его грязненького прошлого. Сынки магнатов — полковники и подполковники уже не издевались над «темной лошадкой». Напротив, только льстивые слова, только разглагольствования об исторической миссии фюрера, только надежды, только букет самых пышных выражений.

Вот Фридрих узнал, что Вернер фон Бломберг, главный военный советник при германской делегации в Женеве, перебежал к Гитлеру и официально объявил себя членом партии наци. Следом за Бломбергом на поклон к фюреру помчался Вальтер фон Рейхенау. Это он сочинил знаменитую присягу, в которой все чины рейхсвера клялись «...перед господом богом безропотно подчиняться фюреру немецкого государства и народа Адольфу Гитлеру, верховному главнокомандующему вооруженными силами...»

А сочинялась присяга в тот день, когда Гинденбург, пустивший козла в огород, как говорится, отдал концы. Еще не успел остыть труп президента республики, в приемной Гитлера уже ждали своей доли Бломберг и Рейхенау. Именно они, имея за спиной генеральскую свору, а стало быть и рейхсвер, поддержали фюрера в столь тягостный час утраты его восприемника. Это они посоветовали ему разделаться с прогнившей парламентской системой и так называемой «демократией». Вняв их советам, Гитлер без ложной скромности объявил, что отныне функции президента и рейхсканцлера германского рейха, а заодно — куда ни шло! — обязанности главнокомандующего он будет исполнять один.

Давая столь полезные советы человеку, который, как сказал Бломберг, «вышел из рейхсвера» и «навсегда останется нашим», думал ли Вальтер фон Рейхенау, что пройдут годы, и генералы, ползавшие перед Гитлером и лизавшие его сапоги, хором откажутся от своего «любимого вождя», всё взвалят на него, а себя представят эдакими невинными ягнятками, насильно загнанными в фашистскую овчарню?!

Думал ли он, что и папаша его, а с ним боссы металлургии (Тиссен, например, или Рейш), угольной промышленности, финансов (Шахт и другие), химии и судостроения, помещичьего хозяйства и прочие, державшие в своих руках полуторамиллиардный капитал, подписавшие обращение к Гинденбургу о передаче власти Гитлеру, а когда он пришел и занял сразу три самые высокие должности в империи, подарившие ему для нацистской партии солидные куши (один Шахт отвалил три миллиона марок да еще поблагодарил фюрера за то, что он их взял, сопроводив это нежное излияние верноподданнической фразой, как он и его директора довольны поворотом политических событий!), — что и они, получившие впоследствии многомиллиардные куши от Гитлера, тоже откажутся от него и лицемерно будут выть о непричастности к злодействам фюрера.

...Усевшись за стол канцлера, Гитлер не забыл тех, кто помог ему раздавить коммунистические и рабочие восстания: Бломберг стал военным министром, Рейхенау — начальником личного штаба фюрера.

«Придите ко мне, страждущие и ждущие, и аз обласкаю вас!» — перефразируя известное евангельское изречение, восклицает Гитлер.

Страждущие и ждущие генералы, видя, как высоко вознеслась их братия, помчались к фюреру. Вприпрыжку. Перегоняя друг друга. Еще есть отличные куски пирога. Урвать бы какой побольше да послаще!

Фридрих с затаенной усмешкой наблюдал за неприличным спринтерским бегом генералов. Правда, он был достаточно осторожен, чтобы напоминать своим сослуживцам их крамольные анекдоты насчет шпиона Рема. Но он также осторожен в смысле проявления своих чувств к фюреру. Ему намекали, не пора ли, мол, разделить всеобщую ответственность перед рейхом, став членом партии наци. Он помалкивал. Его произвели в

полковники. Он сдержанно поблагодарил за давно ожидаемый чин, но от вступления в партию воздержался. Политическая деятельность его не прельщала. Он солдат. Нет, он не побежал на поклон к фюреру и канцлеру рейха, подобно генералу Гаммерштейну-Экворду. Тот вкатился в кабинет фюрера первым и получил должность главнокомандующего рейхсвером. Потом генерал Адам. Этому досталась должность начальника войскового ведомства.

Из некоего мрака выползли еще двое — убежденнейший монархист генерал фон Фриче и генерал Бек, сын Людвига фон Бека, главы гессенской металлургической фирмы «Л. Бек и К⁰». Эти тоже пришли за должностями. И, конечно, получили их...

Лиха беда начало... Глядя на шестерку, отхватившую столь жирные куски, генералы устремились к канцлеру навалом — чем, дескать, мы хуже прочих, ваше высокопревосходительство? Уж, пожалуйста, и нам сладенького!

И сладенькое не замедлило быть. Едва устроившись на престоле, Гитлер пожелал быть гостем верхушки рейхсвера. Генерал Гаммерштейн-Экворд пригласил канцлера в гости. Он еще не знал, что скоро ему дадут пинка, ибо он чем-то «не устроил» фюрера.

В вилле генерала — цвет германской военщины. Многие из них еще не видели новоиспеченного канцлера. «Каков-то он, этот выскочка?» — шептались одни. Другие, более дальновидные, помалкивали. Шум стих, когда канцлер, весь в коричневом, с непременным черным пауком на красной нарукавной повязке, занял почетное место. Пожилые и молодые детки промышленников, баронов, графов, прусских юнкеров и баварских кулаков рассматривали Гитлера, как некое неизвестное насекомое, вдруг выросшее в слона.

Не нашлось ни одной шавки, которая посмела бы тявкнуть на него. Напротив, все жадно прислушивались к каждому слову фюрера. Но он ел и молчал. Ели и остальные. Десерт будет потом. Десертом будет трехчасовая речь Гитлера, в которой он выложит карты на стол. Он говорил об уничтожении коммунистов и вообще всех «левых элементов». Ему аплодировали, но не слишком рьяно. Потом канцлер начал излагать програм-

му военного производства. Тут у сынков промышленных магнатов потекли слюнки. Аплодисменты, уже более горячие, перешли в овацию, когда фюрер объявил, что Германия слишком перенаселена и ей необходимо «жизненное пространство», а его, как известно, особенно-то искать нечего — оно под боком, в России. Но так как Россия вряд ли намерена поделиться своими жирными землями с германской нацией, то их надо взять силой, то есть войной, в которой заодно следует покончить с большевизмом и с Россией как государственным понятием вообще.

Господам генералам, полковникам и прочим, присутствующим на обеде, особенно пришлось по душе высказывание фюрера о том, что будущий вермахт должен остаться аполитичным и беспартийным, что внутренняя борьба — забота нацистских организаций, а дело вермахта — готовиться к войне.

С генеральского пира фюрера вынесли чуть ли не на руках. Наконец-то нашелся человек, который так тепло говорит о рейхсвере и так точно определил его задачи. Хох! Хох! Хайль Гитлер!

А фюрер, уехав с пира, ухмыляясь, сказал в тот же день своим коричневым приятелям:

— Если бы армия не стояла на нашей стороне, мы бы не были здесь...

Этих слов Фридрих, разумеется, не слышал, но рассказ о пиршестве и речь фюрера дошли до него. Ему понравилось заявление фюрера о беспартийности рейхсвера.

«Очень хорошо. Вот я и останусь вне партии. Пусть она занимается своими, внутренними делами, а мы здесь, в генштабе, займемся своими».

Лет через пять после описанных событий квартира советника по земельным делам украсилась еще одним портретом. Наконец-то отец Фридриха достиг заветной мечты: его сын — вы подумайте только — генерал!

Он хвастался перед соседями успехами Фридриха. Он доволен, что Фридриху везло не только по службе, но и в личной жизни. Он женился. Симпатичная, преданная жена. Один за другим дети — сын и дочь.

Сын — вылитая мать, дочь — отец, такая же худощавая, рослая, задумчивая, сдержанная. Семья — при-

мер многим, дети — пример послушания, дом — скромный, но такой же теплый и уютный, как дом отца, как дома дедушек и прадедушек.

Жить бы и радоваться!..

Если бы...

Если бы не то, что случилось...

3. НЕВЕСЕЛЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ В УТРЕННИЙ ЧАС

— Хайн!

Молчание. И еще раз:

— Хайн! Ты спишь, медвежонок?

Снова молчание и легкое похрапывание, доносящееся из клетушки, отгороженной фанерной переборкой от подвальной комнаты.

— Бог с тобой! — Генерал-полковник в длиннополой шинели, небрежно накинутой на плечи, постоял около грубо сколоченной двери и принялся шагать из угла в угол.

«Да,— думалось ему,— когда я был в возрасте Хайна, я тоже любил поспать. Впрочем, меня никогда не стаскивали с кровати за ноги. Ведь я был такой примерный, такой послушный мальчик!..»

Побродив по комнате, генерал-полковник присел к письменному столу. Слева, на отсыревшей стене, висела карта фронта. Он проходил в черте большого города, расположенного на Волге. Жирная линия, выведенная цветным карандашом, начиналась на северной окраине, чуть подальше того места, где остров делил реку на два рукава, потом шла по западным предместьям и снова утыкалась в реку на юге.

Таким образом, линия фронта как бы огромной подковой огибала город. Мельком взглянув на карту, генерал-полковник нахмурился. Он командовал армией, зажатой внутри этой подковы. Хуже всего было то, что подкова неотвратимо сжималась, а все попытки генерала и его солдат раздвинуть ее и выйти на оперативный простор неизменно кончались неудачами. Впрочем, еще тлела надежда на помощь извне.

Генерал-полковник долго смотрел на карту, не видя ее. Он размышлял о том, как и почему случилось так, что он сам и его огромная армия, так неудержимо катившa-

ся к Волге, не только застряла здесь в кровопролитных боях, но и оказалась в железном кольце русских войск? В чем был просчет, почему не сбылись стратегические замыслы высшего командования?

Это что-то невероятное!

Вот разрушен этот город. Ужасны его развалины! В течение считанных недель было разбито, разворочено до нутра, перекручено и опрокинуто вверх дном то, что создавалось людьми в течение многих десятилетий, что было источником радостей, основой и смыслом жизни.

Здесь каждый вершок земли не остался самим собой. Он вздыблен, перевернут, обращен в прах. Громадное пространство, занимаемое городом и его предместьями, полито человеческой кровью.

Однажды генерал-полковник ехал мимо кладбищ, где в огромных ямах лежали его солдаты. Он никогда не забудет этого зрелища. Тысячи трупов, тысячи крестов с касками наверху! Это несколько армий, которые ринулись бы дальше, опрокинь генерал русских в Волгу. Но его солдаты были уничтожены на подступах к городу и в самом городе, который они так и не смогли взять.

Источенные пулями и осколками снарядов стены домов, мирные заводские дворы, каждый из которых стал полем неслыханно свирепых схваток, развороченные внутренности цехов, разнесенные железнодорожные пути, пробитые насквозь нефтяные цистерны, товарные и пассажирские вагоны, вздыбленные разрывами снарядов, налезшие друг на друга, сброшенные на землю силой взрывной волны...

Тут нога человеческая торчит из-под груды битого стекла, там судорожно сжатые пальцы высовываются из-под земли... Все это видел генерал-полковник, когда по глубоким ходам сообщения посещал то одну, то другую дивизию.

Бог мой, как же все изменилось в них!

Ведь всего несколько недель назад его солдаты среди бела дня на виду у русских вели грузовики по развороченным улицам города, доставляя еду и боевые припасы ротам, батальонам и полкам... Тогда русские, яростно огрызаясь, сидели в подвалах, в расщелинах между развалинами, между станками в цехах, на чердаках и в уцелевших оконных проемах...

Теперь его солдаты расползлись, подобно крысам, по тем же расщелинам, спрятались за толстыми стенами подвалов, в канализационных и водопроводных трубах, в грязных и вонючих норах... Теперь русский солдат вышел из-за каменных прикрытий, теперь он, выпрямившись во весь свой рост, ходит смело и, деловито спеша, идет по своим солдатским делам. Теперь он выкуривает солдат генерал-полковника огнеметами из их укрытий, выжигает их, выбивает пулеметами, топит в воде, уничтожает голодом, холодом, сводит с ума беспрестанными атаками, огневыми налетами, ревущими молниями «катюш», грохотом тяжелой артиллерии, навечно вбивает в землю ударами многотонных бомб.

Лед Волги не разбить: у генерал-полковника нет таких запасов снарядов, чтобы воспрепятствовать русским переправлять с того берега пополнение, ему нечем уничтожать колонны грузовиков с продовольствием и грохочущие тягачи, переправляющие русской армии орудия, танки, самоходные установки. У него мало снарядов, у него нет боевых припасов — он смог выдать каждому солдату по полсотне патронов, приказав тратить их только для того, чтобы отбивать атаки русских; у него нет еды — уже давно солдату дают сто граммов хлеба и кусок конины; у него нет помещений, где бы раненые могли лежать не на бетонном, промерзшем полу, как теперь; ему некуда их вывезти, и они умирают, потому что нет медикаментов, не хватает врачей и санитаров и острая нужда в могильщиках, ибо работа их непосильна...

Подобно дикарям, обросшие щетиной, давно забывшие о ванне и воде вообще, обовшивевшие, мрачные, с надломленной психикой, солдаты генерал-полковника вылезают лишь по ночам из каменных берлог, поднимают руки и выклянчивают у русских — позор, позор! — кусок хлеба, сигарету... Нет, они не кричат: «Русь, буль-буль Вольга, иди к нам, у нас белая булька!» Они просят русских не стрелять в них, они и без того почти мертвые!..

А ведь всего-то три месяца назад армия генерал-полковника прижала русских к самому берегу Волги и железным кольцом окружила их. Вклинившись в боевые порядки, она вышла в нескольких местах к реке, заняла все командные высоты, почти весь город, ворвалась и укрепилась в гигантских цехах здешних заводов, жесто-

ко обстреливала реку и заречные дали, препятствуя снабжению войск Советов продовольствием, боевым снаряжением, подходу резервных частей.

Окруженные, порой лишенные связи с внешним миром, довольствуясь суровым пайком, обремененные тысячами раненых, потому что вывезти их в тылы часто не представлялось возможным, испытывая на себе адскую силу артиллерийского огня, минометов, обстреливаемые с земли, с воздуха, с фронта и флангов, в дни ледохода потерявшие последние нити, связывавшие их с Большой землей, исходя кровавым военным потом,— они стояли... Стояли и выстояли эти удивительные русские души! И не только устояли, но и зажали в смертельных клещах армию, которая некогда зажала в клещи их!

«Что же стряслось? Какая пружина лопнула в гигантской военной машине рейха? — размышлял генерал-полковник.— Чьи головы не додумали последствий стремительного марша к великой водной русской артерии?» Он не находил ответа. «Господи, господи,— повторял он,— как все отлично начиналось!»

Семнадцатого октября — генерал-полковник хорошо запомнил этот день — был получен приказ уничтожить русскую сто тридцать восьмую дивизию, переправлявшуюся через Волгу в район завода «Баррикады», где кипели жестокие бои. Истекая кровью, русские не уходили из цехов разбитого завода, на помощь им шла свежая дивизия.

Разведка сообщила генерал-полковнику, что полки ее участвовали в свое время в прорыве линии Маннергейма, а командует ею полковник Людников, славящийся не только личным мужеством, но и глубоким знанием стратегии и тактики.

Генерал-полковник приказал артиллерии открыть по переправляющейся дивизии ураганный огонь. И все же русские части прорвались на правый берег и заняли позиции, указанные советским командованием.

Дальше началось нечто невообразимое. Пренебрегая чудовищными потерями, генерал-полковник посылал в бой одну дивизию за другой. Казалось, ничего не осталось от завода, где дрались солдаты Людникова. Волга кипела в огне. Ее волны клокотали от снарядов и бомб. Выполняя приказ генерал-полковника, немецкие полки шли напролом. Больше месяца продолжалась битва на

куске земли, и только одиннадцатого ноября дивизия была отрезана от армии, оборонявшей город. «Теперь,— думалось генерал-полковнику, — мы уничтожим ее без лишних хлопот!»

И верно, нелепо было думать, что русские, зажатые на участке шириной в четыреста и глубиной в восемьсот метров, могут отбить атаки мощно вооруженной дивизии, только что прибывшей из глубокого немецкого тыла, и подкреплений, которые шли эшелонами по железной дороге и перевозились самолетами из-под Миллерово.

Но шли дни, воевала магдебургская дивизия, в бой вступили части из Миллерово, а фронт окруженных русских пробить не удавалось. Нигде! Ни на метр! Ни на сантиметр!

Был назначен решительный штурм. Приказ генерал-полковника гласил: «Сто тридцать восьмая дивизия противника должна быть в ночь на тринадцатое ноября сброшена в Волгу».

Сражение продолжалось два дня. Битва шла в траншеях и ходах сообщения. Небольшие группы солдат, прибывших из-под Магдебурга и Миллерово, просочились в глубину расположения русских. Перед ними Волга, Волга, забитая льдами. Ледоход отнимал последнюю надежду окруженных на помощь левого берега. Бронекатера русских не могли пробиться через льды к правому берегу, вывезти раненых, доставить боевые припасы, продовольствие, медикаменты.

Три тысячи трупов, одетых в немецкую солдатскую форму,— вот итог штурма. Все атаки были отбиты, наступавшие откатились назад, ни один вершок позиций русскими не сдан...

Генерал-полковник получал донесения: русские голодают, русские не знают, что делать с тяжело и легко ранеными солдатами, они исчерпали свои резервы.

Командующий приказал перейти от штурмов к правильной осаде окруженных. Двадцать четыре часа в сутки артиллерия била по зданиям, которые еще не были разрушены. Обстреливался каждый квадратный метр. Все оборонительные точки русских — под огнем. Роты и батальоны то там, то здесь атаковали солдат Людникова. Они стояли. Свирепо обстреливалась Волга — мыши не перебежать через ее льды.

«Четыреста метров в ширину, восемьсот метров в глу-

бину!» — эти слова кошмаром преследовали генерал-полковника. Он ничего не понимал.

Как-то к нему привели взятого в плен, тяжело раненного офицера дивизии Людникова. Его спросили:

— Какая сила заставляет вас держаться на этом клочке земли?

Он сказал:

— Вам этого не понять... Ведь вы знаете, если ваши занимают какой-то метр нашей позиции, они находят там наших солдат. Погибших, но не ушедших с того места, где они были поставлены.

Генерал-полковник, потрясенный этой беседой, приказал отпустить офицера, хотя начальник штаба армии Шмидт и визжал о слюнявом гуманизме...

А битва тем временем продолжалась. Все с тем же результатом. Генерал-полковнику однажды доложили, что, по сведениям разведки, командир окруженной дивизии распорядился провести во взводах, ротах, батальонах и полках... шахматный турнир. Победитель получал плитку шоколада — это все, что оставалось у Людникова в дни ледохода, пять тонн шоколада, забытых на каком-то складе...

В русской дивизии шел шахматный турнир — на огневых позициях не прекращался бой. «Русские истребили по меньшей мере десять тысяч наших солдат,— сообщили генерал-полковнику.— Перебираться за Волгу они не собираются. Напротив, готовятся наступать...»

И в это утро, в утро кануна Нового года, генерал-полковнику донесли, что дивизия Людникова на всем фронте перешла в наступление...

«Что же случилось? — снова задавал себе все тот же вопрос генерал-полковник. — Где гибельная ошибка, в чем просчет? И кто виновник их?»

И опять не находил ответа.

Взгляд его машинально скользнул по столу. Пачки приказов, донесений разведки, какие-то ненужные теперь бумаги. Ах да, он не дочитал вот этого... Выступление доктора Геббельса в Спортпаласе...

С гримасой отвращения, больше для того, чтобы убить время, генерал-полковник листал страницы «Фелькишер Беобахтер». Там крикливо описывалось, как зал Спортпаласа — «это старая арена политической борьбы

нашей партии, где собрался «цвет рейха»,— наполнился звуками «наших боевых песен». «Цвет рейха» с напряжением ждал, когда к ним обратится с речью имперский министр доктор Геббельс, «устами которого должно было говорить веление грозного часа».

Паулюс поморщился, он презирал фальшиво парадный тон нацистов. Уж он-то знал, каково в Германии тем, кто, как писалось в газете, «готовы исполнить свой долг, когда германские солдаты наносят все новые и новые удары по нашему исконному врагу — большевизму...»

Как ни мрачно был настроен в тот утренний час генерал-полковник, он не мог удержаться, чтобы не фыркнуть, прочитав эти слова. «Наносят все новые и новые удары! — повторил он в уме.— Шарлатаны! Кто и кому наносит все новые и новые удары?»

Наконец имперский министр вступил в зал. Его сопровождал отъявленный итальянский фашист, посол дуче Альфиери.

Строчки, где писалось о чуть ли не безумных овациях, генерал-полковник пропустил. Он искал то место в речи кривоногого коротышки Геббельса, где упоминалось о его армии. Ага, вот оно!

«...Трагические события Сталинграда поставили наш народ перед лицом тяжелых испытаний. Эти события дали нам возможность воочию увидеть ужасное и беспощадное лицо войны. («Где уж им видеть ее лицо в теплых кабинетах на Вильгельмштрассе!» — пронеслось с горечью в голове генерала.) Но это не является для нас поводом к пессимизму. Мы не философствуем, а действуем. На Восточном фронте мы переживаем тяжелые дни. В этом виноваты отчасти (Отчасти?) мы сами... Мы сами немного (Немного? Господи, вот идиот!) недооценили силы врага, ибо не рассчитали, что может представлять из себя тотальная война. Сейчас мы делаем нужный вывод и будем вести тотальную войну с еще большей ожесточенностью, чем наш враг, ибо наша раса и наша организованность стоят значительно выше... Тотальная война — заповедь настоящего момента. Она будет вестись и ради тех, кто на Волге подвергается нападению со всех сторон, зная, какая судьба может ожидать в горящей крепости короля Этцеля, окруженной войсками гуннов...»

Генерал-полковник грубо выругался. Его хоронили. Хоронили заживо, хотя он и его армия еще жили и сражались неизвестно ради чего!..

Дальше Геббельс вопил о том, как опасен большевизм, как евреи мечтают уничтожить германский народ, утверждая, что «еврейство овладело англо-саксонскими странами духовно и политически...» Генерал-полковник мотал головой, читая строчки, полные людоедства. Но вот Геббельс опять заговорил о войне. Нет и помина о стремительных маршах и громких победах. «Мы ведем на Востоке труднейшую оборонительную войну (Слава богу, хоть до этого-то додумались!). Теперь уж для нас совершенно ясно, что блицкриг в Польше и на Западе — явление условное. (Но ведь так недавно вы же, доктор Геббельс, распространялись, что блицкриг — единственная и вполне реальная возможность раздавить Россию?) Мы хотим спасти свою жизнь!» (Ого! Вот до чего дошло!) Спасение Геббельс видел в тотальной войне. «Важно не то, красив или не красив какой-либо метод, а важно лишь то, является ли он успешным... Мы закрыли бары и ночные рестораны, чтобы не падала военная мораль. Кроме того, закрываем все магазины-люкс. Мы найдем работу для служащих пустующих магазинов: их труд — с оружием в руках идти на фронт. А эти катания верхом по утрам в Тиргартене? Какое впечатление должна произвести на трудового немца кавалькада роскошно одетых женщин верхом на рысаках?..»

Паулюс с чувством омерзения отбросил газету.

«Закрыли ночные бары и рестораны... Дельцы найдут выход — откроют те же бары и те же рестораны в каких-нибудь глухих закоулках, куда будут пускать тех, кто жиреет на военных прибылях... Закрыли магазины-люкс... Ничего. Тот, чьи карманы набиты золотом, найдет способ покупать роскошные вещи и содержать любовниц... Запретили катание верхом... Ну что ж, жены партийных бонз — ведь это они галопом неслись по утрам по Тиргартену — уедут в свои имения, купленные на деньги, украденные у «врагов нации», и там будут совершать прогулки в компании лоботрясов, откупившихся теми же крадеными деньгами от солдатских сапог...

И какое дело всем этим жиреющим, грабящим, наживающимся на проливаемой крови до страданий солдат здесь? Кто из партийных и правительственных дема-

гогов всерьез думает о трагедии, разыгравшейся на берегах русской реки? Спастись — вот что у них на уме. Что ж, они-то спасут свои гаденькие жизни, эти нажравшиеся человеческой кровью. Они сбегут при случае за границу... Куда бежать немецкому солдату из котла?

Там, в Берлине, пьют и развратничают, быть может зная, что это пир Валтасара, что уже написаны огнем зловещие слова: «Манес, такел, фарес...» А здесь кусок конины рвут друг у друга из рук. Там министров, пославших в бой миллионы людей, встречает овациями обезумевшая толпа мещан, подхалимов и истеричек, пройдохи с партийными билетами в кармане, генералы, отсиживающиеся в тылах, офицеры из родовитых семей, околачивающиеся в барах и ресторанах. Там, в Спортпаласе, рев оркестров, грохот рукоплесканий и глотки, вопящие «Хайль Гитлер!» Здесь рев самолетов, грохот разрывов и вопли умирающих солдат.

Там объявляют тотальную войну; здесь она продолжается все эти четыре кровавых месяца — тотальная война на истребление моей армии. Там есть еще люди, которые нежатся в роскоши курортов. Здесь раненые помирают, лежа на вонючем полу подвала. Там Геббельс обещает населению всякие развлечения. Здесь главное развлечение — добывать еду. Добывать каким угодно способом. Там доктор Лей болтает о духовном и умственном отдыхе, о спорте... Здесь рады каждой минуте, когда русские не ведут чудовищного огня и можно выползти из дота и глотнуть воздуху. Спорт! Спорт здесь один: убить как можно больше вшей — это у нас — и убить как можно больше немецких солдат — это у русских! Там толкуют о том, чтобы отказаться от прислуги, а здесь каждый день я слышу от командиров батарей: «Орудийной прислуги не хватает, господин командующий!»

Генерал-полковник снова выругался.

Постучали. Вошел радист Эберт, толстяк в потрепанном мундире. Живот Эберта переваливался через ремень, лунообразная физиономия светилась добродушием. Он тщился вытянуться в струнку перед командующим армией, но этот проклятый живот!..

Генерал-полковник был рад появлению Эберта. От мрачных мыслей у него разболелась голова.

— Ладно, не заставляй свой живот делать то, что ему не под силу,— сказал генерал-полковник со смехом.— Ну, какие новости принес ты мне, дружище? — приветливым тоном спросил он Эберта.

— Плохие, господин командующий, плохие, смею заметить.— Эберт вздохнул, и живот его колыхнулся.

— Что там такое? — Генерал-полковник вооружился очками.

Эберт передал ему радиосводку.

— Русские ворвались в Котельниково, господин командующий,— снова вздохнув, ответил Эберт.

Генерал-полковник, почувствовав, что у него подкашиваются ноги, сел. Рука со сводкой бессильно опустилась на стол.

— Ступай, — сказал он с мертвенным взглядом.

Эберт отдал честь и неторопливо понес свой живот к двери.

Итак, лопнула и эта последняя надежда! Котельниково в руках русских, фельдмаршал Манштейн бежит... Боже мой, боже мой!

Распался бронированный кулак пробивавший путь к окруженной армии. Как радостно было слушать сводки Манштейна, когда двенадцатого декабря, всего три недели назад, он начал свой победоносный марш к Волге!

Три танковые, три пехотные, две кавалерийские дивизии, девять артиллерийских полков, сотни танков... Приказ был краток: проломить боевые порядки русских, выручить сидящую в котле армию. Уже тринадцатого декабря вошли в дело триста танков да еще столько же следовало во вторых эшелонах. Двенадцать дней кровавых боев с переменным успехом, двенадцать дней невиданной жестокости сражений, двенадцать дней, полных надежд у тех, кто был в котле... Вот всего восемьдесят километров отделяют передовые части Манштейна от Волги...

Шестьдесят...

Сорок!..

И вдруг громадная сила выдохлась и медленно покатилась обратно, туда, откуда начинала поход — к Котельникову. Там Манштейн намеревался собрать новый кулак. Он слал ободряющие радиограммы: держитесь, я еще приду! Но вместо того чтобы Манштейну прийти к Волге, русские ворвались в Котельниково...

Паулюс прочитал сводку. Русские упредили замыслы фельдмаршала. Могучая сила их танков и мотопехоты гигантской волной обрушилась на части Манштейна. Котельниковский плацдарм, снова готовившийся стать трамплином для прыжка к Волге, стал гигантской могилой германских солдат... А фронт откатился еще на много десятков километров на запад, и надежда на выручку утрачена. Ее больше нет. Ее не будет. Конец!

Генерал-полковник машинально выглянул в квадратное окно, забранное решеткой и выходившее в обширный двор. Подступы к окну заминированы снаружи, приближаться к ним запрещено.

Иногда генерал-полковник ловил себя на мысли, будто он заключен в тюремную камеру,— так удручающе похож был на нее этот подвал, это окно с железной решеткой.

Впрочем, теперь, когда рухнула последняя возможность выбраться из котла, командующий думал, что и настоящая тюрьма не за горами.

Однажды он познакомился с подобного рода заведением. Нет, он не был узником... Как-то, спасаясь от огневого вала русских, часа два-три он провел на командном пункте дивизий генералов Шемера и Даниэльса. За неимением более подходящих и безопасных помещений в расположении их частей, генералы устроились в тюрьме этого города на Волге.

Генералы посмеивались, принимая командующего армией в столь странной и зловещей обстановке. Командующему было не до смеха, нет!

Да, той картины ему никогда не забыть! Командиры дивизий помещались в камерах, наскоро оборудованных под кабинеты. Настоящие каменные мешки с окошками, забранными толстыми железными прутьями. До войны тут сидели убийцы и грабители... Генерал-полковник, разговаривая с командирами дивизий, вдруг поймал себя на мысли такой странной, что она поразила его. Генералы и он, командующий армией,— не похожи ли они на тех, кто занимал эти камеры в мирные времена? Преступники сменили преступников! Разве дивизии Шемера и Даниэльса не убивают, не грабят? Разве армия, подчиненная ему, не совершает деяния в тысячи раз более страшные, чем проступки уголовников? Те вламывались в квартиры мирных людей, на их совести два-три убийст-

ва, пять-шесть грабежей со взломом... А его армия вломилась в мирную страну, на ее совести десятки тысяч убитых. А грабежи?.. Да кто ж считал, сколько мирных людей ограблено солдатами фюрера! Командующий поспешил убраться из тюрьмы, она навевала на него слишком тяжелые мысли.

Генерал-полковник снова выглянул в окно. Но и то, что он увидел, тоже не обрадовало его. По двору, подобно сонным мухам, шатались без дела солдаты и офицеры, вооруженные автоматами. Физиономии этих людей были серы и угрюмы, словно их угнетало не столько положение, в которое они попали, сколько хмурый, холодный и ветреный день — последний день уходящего в вечность года.

Снег запорошил штабные машины, сделанные разными фирмами Европы. Они стояли во дворе на приколе. Ездить на них некуда. Фронт сжался так, что в некоторых местах до переднего края можно дойти за полчаса через развалины домов, груды битого кирпича и щебня, минуя надолбы и проволочные заграждения, полуразрушенные снарядами и бомбежкой с воздуха.

Сегодня молчала артиллерия и не летали бомбардировщики. Лишь кое-где слышались короткие очереди автоматов и огонь пулеметов на флангах.

«Может быть, русские тоже празднуют канун Нового года?» — плелись ленивые мысли.

Командующий встал и снова зашагал, тяжело и медленно, из угла в угол.

«Все люди отмечают этот день. Почему бы его не праздновать русским?.. Интересно, сколько времени я могу продержаться? Впрочем, там увидим...»

Когда наступит это неопределенное «там», генерал-полковник не знал и не желал об этом думать. Думать сейчас ему вообще не хотелось.

Самое страшное из человеческих чувств — равнодушие, когда ничто не радует и все валится из рук, равнодушие ко всему на свете, безразличие к происходящему. Полная душевная опустошенность овладела генерал-полковником задолго до этого угрюмого дня.

Новый год — теперь-то в этом не было никакого сомнения — не принесет ни радости, ни освобождения от сосущего душу ожидания рокового, неизбежного конца.

Это было страшнее самой страшной болезни. Всякий

больной мечтает об избавлении от недуга. Паулюс и об этом не мечтал. Порой он смотрел на себя как бы со стороны и казался разлагающимся трупом среди того живого, что еще чего-то ждало и на что-то надеялось. Он бродил по грязной, плохо натопленной комнате, с отвратительными подтеками на стенах и изморозью в углах.

Беспрестанное корпение над картами и бумагами сделало его сутулым, поэтому он казался ниже своего роста. Небритое, длинное и узкое лицо, редкие волосы, начавшие седеть, прилизаны и разделены на прямой пробор. В углах бескровных губ — глубокие поперечные морщины, глаза глубоко ввалились, взгляд мертвенно-тусклый. Неестественно длинные руки висят, словно плети. Левый глаз то и дело дергается.

4. НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ХАЙНА

— Господи, как все это странно! — сказал генерал-полковник вслух.— И кто мог знать, что на пятьдесят третьем году жизни, и в этот самый день, я буду так далеко от семьи!

Вяло передвигая ногами, он подошел к обеденному столу в углу, на котором, кроме блюда с тощим, пережаренным гусем и бутылки «Мартеля», ничего не было, налил рюмку коньяку, выпил, срезал перочинным ножом тонкий ломтик мяса с гусиной ножки и, медленно жуя, опять зашагал взад-вперед.

«Интересно бы знать,— все так же лениво плелись мысли,— будет ли сегодня дома праздничный гусь и где встретят Новый год жена, сын и дочь? Теперь я не скоро увижу их! Если увижу вообще...»

— Хайн! — Командующий больше не мог быть в одиночестве.— Слушай, Хайн! Да проснись же, увалень!

Молчание и храп за переборкой.

— Хайн! — Паулюс постучал в дверь.

Храп прекратился, и тотчас из клетушки выскочил парень, лет двадцати, в солдатской униформе. Скрывая зевки ладонью, он остановился в почтительной позе около стола.

— Я слушаю вас, господин...

Генерал-полковник не дал ему договорить.

— Потише, Хайн. Мне нездоровится, и я не выношу громкого разговора. Извини, у меня разгулялись нервы.

Хайн наклоном головы дал понять, что он учел замечание.

— Хайн, где ты взял этого гуся?

— Я взял гуся, господин командующий...

Его снова прервали.

— Если можно, Хайн, обойдись сегодня без вранья. Закончим сорок второй год правдивым ответом, если это не слишком затруднит тебя. Подумай, прежде чем сказать. Итак?

Хайн несколько мгновений стоял молча. Это был туповатый малый, с зеленоватыми плутовскими глазами и румяной физиономией, довольно упитанный, неуклюжий, действительно похожий на медвежонка. Узкий лоб собрался в гармошку. Полные мальчишеские губы шевелились. Хайн в ту минуту был похож на человека, решающего сложную проблему.

— Я никогда не лгу вам,— с усилием проговорил он.

— Хайн,— услышал он торжественно произносимые слова.— Ты уже солгал, сказав, что никогда не лжешь мне.

Хайн переминался с ноги на ногу. Ему отчаянно хотелось зевнуть.

— Скажи, Хайн, почему все вы вбили себе в голову мысль, будто мне нельзя говорить правду? Почему все лгут мне, Хайн?

— Уж такая ваша должность,— выдавил Хайн. Он поднес руку к носу с очевидным намерением поковырять в нем, но вовремя опамятовался.— Что делать — должность! — Хайн пожал плечами.

— Хорошо,— помолчав, снова начал генерал-полковник.— Ты не сказал, где взял этого гуся. Пожалуйста, я тебя очень прошу, не лги.

Хайн переминался с ноги на ногу. Глаза его неотрывно были прикованы к блюду с гусем. Он судорожно проглотил слюну и сказал:

— У русских! Там! — И махнул рукой в пространство.

— У русских? — Седеющие брови вопросительно поднялись.— Значит, здесь еще есть русские? Мне сказали, что все они бежали, эти безумцы.

— Есть, есть,— Хайн поперхнулся.— Немного,— добавил он, поняв, что, если все врут этому человеку, почему ему быть белой вороной.

— Мне сказали, что нет никого.

Зак. 718

Молчание.

— Ну, хорошо. Значит, ты украл этого гуся у людей, которые могли бы съесть его сегодня и хотя бы этим отпраздновать Новый год?

— Разве они люди? — ответил Хайн вопросом на вопрос.

— А кто же они?

— Славяне, я слышал.

— Славяне тоже люди.

— Неполноценные, смею заметить. Так нас учили.

— Мне не интересно знать, чему вас учили. Я хочу знать одно: ты помнишь, где украл гуся?

Хайн молчал. После только что полученных мрачных известий, командующий настроился на идиллический тон. Общность судьбы, которую ему придется разделить с Хайном, со своими солдатами и всеми, кто еще остался в этом городе, пусть даже русскими, пробудила в нем сентиментальность, которой так подвержен немец, в какой бы семье он ни вырос, к какому бы кругу ни принадлежал. К тому же генерал-полковник вспомнил, что сегодня как-никак канун Нового года, а в этот день положено быть снисходительным к ближним своим. Нет, Паулюс не был добряком. Мать иногда говаривала, что ее Фридрих порой слишком суховат, суров и строг. «Но разве наш сын лишен прочих человеческих качеств? — возражал советник по земельным делам.— Нет, милочка, все человеческое не чуждо Фридриху!»

— Хайн, — проникновенно начал генерал-полковник,— пожалуйста, вспомни, где ты взял этого гуся. Вспомни, отнеси обратно и скажи тем людям, что германская нация и германский народ не имеют вражды к мирным русским жителям.— Здесь командующий возвел глаза вверх, как бы призывая в свидетели небеса, что — ей же право! — он не обижал и не намерен обижать добрых, мирных русских.— В подтверждение этого,— продолжал генерал-полковник,— я разделил с русскими новогоднюю трапезу, отрезав от гусиной ножки ломтик мяса.

Хайн был поражен. Он понятия не имел, почему так расчувствовался шеф, что такое на него вдруг накатило. Уж Хайн-то знал, как обошлись в этом городе — да и не только в нем — «с добрыми, мирными русскими»...

— Я не знаю, где тот русский... живет. Это было ночью,— жалобно сказал Хайн.

— Ты должен вспомнить,— с мягкой настойчивостью убеждал его генерал-полковник.

— Виноват, но не могу. Было очень темно, стреляли. Я полз. Это почти у переднего края. Я едва не попал в плен. Какой-то старик с бородой и в валенках так вцепился в гуся и так кричал, что я чуть не помер со страху.

Командующий посмеялся:

— Но зачем тебе был нужен этот несчастный и, видно, весьма пожилой гусь? Разве у нас уже не осталось еды?

— Нет, господин генерал-полковник, для вас-то еда есть. Не так уж много, но есть.— Хайн поднял на шефа мальчишеские глаза. — Но мне очень захотелось сделать вам новогодний подарок. Гуся вам не могли достать. Вот я и решил... И чуть не угодил к русским.— В последних словах Хайна слышался упрек.

— Спасибо за внимание, Хайн. Если бы ты не был таким отчаянным вралем, я не имел бы к тебе никаких претензий. Ты славно ухаживаешь за мной. И как мне отучить тебя от вранья? — Генерал-полковник с улыбкой смотрел на Хайна. Левый глаз его дернулся.

— Я отучусь, — тихо сказал Хайн. — Честное слово, отучусь.

Снова молчание. Хайн переминался с ноги на ногу.

— Ладно. Допустим, ты сказал правду и действительно не знаешь, каким образом возвратить этого гуся. В таком случае ты отнесешь его раненым. И если посмеешь съесть хоть крылышко, я оторву тебе голову, слышишь? — Глаз опять дернулся, и снова от улыбки.

— Да, господин генерал-полковник,— уныло пробубнил Хайн.

— Ты отдашь гуся тяжелораненым. Не обязательно сообщать, кто дарит им новогоднее угощение. Это вовсе не обязательно. Ты понял меня?

— Так точно, господин генерал-полковник.

— Итак, возьми гуся.

Хайн взял блюдо. В горле у него запершило: от гуся шел раздражающе сладкий запах.

Выслушав распоряжение, Хайн решил про себя, что оно по меньшей мере неразумное. Съедят раненые гуся

или нет — лучше им не станет. Все равно не сегодня-завтра все они перемрут. Нет, он съест гуся сам. Сначала мясо, потом мелкие косточки, потом раздробит крупные и высосет из них мозг. Жаль, что человек не может есть крупные кости, в них тоже есть питательные вещества, и они очень бы пригодились! Никогда не стоит пренебрегать хотя бы унцией еды. Бог знает, что будет завтра! Кому-кому, а Хайну было известно, чем и как кормят солдат в котле! Они уже трижды подтягивали животы, трижды прокалывали дырки на поясах. От ста граммов хлеба и супа из самой чистейшей воды жира не нагуляешь! Ели конину — вся немецкая кавалерия давно прошла через желудки немецких солдат и офицеров. Потом взялись за кавалерию румынскую. Поначалу брали обозных лошадей, потом добрались до офицерских, а когда и этих извели, отняли верховых лошадей у румынских генералов.

Румыны зеленели от ярости, но их протестующие вопли растекались в холодном воздухе русской зимы, не доходя до штаба армии. Впрочем, быть может, в штабе и слышали ругань румын, но ведь это низшая раса и черт с ними, пусть коптят небеса вздохами!.. Правда, румынские некормленные и полуиздыхающие лошади — пища не ахти какая сладкая и жирная, но все-таки пища. И она должна принадлежать людям высшей расы — конину ели только немцы. Вышел приказ, и Хайн лично видел его — выдавать конину румынам запрещалось. Им устанавливался паек: пятьдесят граммов хлеба — и больше ничего. Пусть знает это нация музыкантов, что одно дело раса господствующая, другое — сателлиты.

Хайн одобрял этот приказ. Так им и надо, этим гнусным ублюдкам! То, что не попадало в их животы, попадет в живот Хайна... Да, да, запасаться едой впрок, любой пищей набивать желудок. Пусть он пухнет, это даже приятно. От разбухшего живота люди не помирают — уж это-то Хайн знал наверняка.

Такие мысли неслись в его голове, когда он брал блюдо с гусем.

— Мне можно идти, господин генерал-полковник? — смиренно справился Хайн.

— Да. Хотя, стой! — Командующий остановил Хайна у двери.

— Я забыл сказать, ты отдашь гуся не офицерам, а солдатам, тяжело раненным солдатам, слышишь?

— Так точно!

— Потом позовешь ко мне генерала Шмидта.

— Слушаюсь.

Прикрыв блюдо полой кителя, Хайн поспешил к укромному уголку, где гуся можно было съесть с гарантией полной безопасности. Он выбрал комнату, некогда служившую уборной тем, кто до войны работал в подвальном помещении большого универсального магазина.

«Это ничего, что придется есть в таком месте,— размышлял Хайн.— К тому же там все смерзлось и запаха никакого. Но если бы и был запах, аромат гуся такой сильный, что он перебьет любые другие».

Хайн шагал по коридору громадного полуподвального помещения. В мирное время оно служило складом трехэтажного универсального магазина, занимавшего целый квартал в центре города. Верхние этажи магазина были разбиты бомбами и снарядами. Прочное железобетонное перекрытие подвала спасло его от разрушения. Глухая цементированная стена, выходившая, как это знал Хайн, на улицу, покрылась плесенью, в углах расползлась изморозь — подвал топили кое-как. С потолка капало; жидкая, вонючая грязь противно хлюпала под сапогами Хайна. Освещался коридор тремя тускло мигавшими электрическими лампочками. Не доверяя полевой электростанции, кто-то приклеил свечку к крышке вдребезги разбитого пианино, попавшего сюда неведомо как и стоявшего в середине коридора впритык к стене.

Противоположная сторона подвала была разделена на полтора десятка помещений разной величины — раньше в них размещались товары, а несколько комнат занимали люди, работавшие на складе. Теперь в этих комнатах расположились два штаба: армейский и пехотной дивизии генерала Роске. Штаб Роске обосновался здесь задолго до того, как штабу армии пришлось, перебираясь из одной деревни в другую, из лощины в балку, войти в город и занять подвал магазина, потеснив тех, кто успел его обжить.

В этот ранний час в коридоре не было ни души. Хайн прошел в самый конец, воровато оглянулся, потом быстро отогнул валявшимся рядом штыком гвоздь, кото-

рым была заколочена дверь уборной, поставил блюдо на пол, вышел и загнул гвоздь.

Слава богу, поблизости никого не оказалось. Адъютант командующего армией полковник Адам, которого Хайн особенно побаивался, уехал куда-то.

Дело в том, что Адам, под страхом десятидневного заключения в карцере, запретил пользоваться подвальной уборной. Ходи по нужде куда угодно — двор универсального магазина достаточно велик.

Адам лично наблюдал за ефрейтором Эбертом, когда тот забивал дверь добротным гвоздем. Однако оба они не заметили валявшегося рядом штыка. Штык служил Хайну орудием взлома запретной зоны, где время от времени он устраивал пиры, будучи хозяином и гостем одновременно.

Покончив с операцией, Хайн не спеша направился обратно.

За дверями штабных комнат слышались громкие разговоры офицеров, монотонное бормотание радистов, вызывавших полки и дивизии, стрекотание пишущих машинок, смех и брань.

Хайн мурлыкал под нос песенку. Черт побери, здорово он сообразил с гусем! Вечерком, когда все уснут, он нажрется до отвала, как сам фюрер там, в Берлине. Никто не дознается, отдал Хайн гуся раненым или нет. Командующему не до того, чтобы проверять чепуховые приказания. Кроме того, как-никак он доверял своему ординарцу. И не только доверял, но и по-своему любил — это Хайн знал. Впрочем, и было за что: больше года Хайн добросовестно служил генерал-полковнику и уважал его, пожалуй, гораздо больше, чем фельдмаршала фон Рейхенау, к которому Хайна определили ординарцем в самом начале его военной службы.

5. ИСТОРИЯ НЕ СОВСЕМ ПРИМЕРНОГО МАЛЬЧИКА

То-то славные денечки были, когда шестая армия — ею тогда командовал Вальтер фон Рейхенау — шла по равнинам Бельгии.

Хайну хорошо запомнилась ночь на десятое мая сорокового года. Пьянчужка Рейхенау и его начальник штаба так и не легли спать в ту ночь. Они беседовали о

чем-то с глазу на глаз. И нервничали — это было слишком ясно даже для туповатого Хайна. Все чего-то ждали... Хайн вздремнул тогда. Да, он помнит, как сладко ему спалось в ту звездную и теплую ночь: штаб армии помещался в старинном замке почти на границе Бельгии. Золотая пора! До того памятного дня война была какая-то странная: никто, казалось, не принимал ее всерьез. И Хайн тоже. Где-то постреливали, где-то лениво летали самолеты и столь же лениво сбрасывали две-три бомбы, патрули нарушали молчание ночей позвякиванием прикладов... А какая была жратва! А какие девочки!..

Хайна разбудили на рассвете пинком, ласковым, но все-таки пинком. Уж таков был заведен у Рейхенау обычай будить Хайна. Тот не обиделся и поднялся, зевая. «Что им надо? — думал Хайн с досадой. — Четвертый час, и меня будят!»

Он привел себя в порядок. «Может, хотят кофе?» За окнами розовая мгла. Тепло, туманно... В кабинете шефа роем гудели голоса. Мимо Хайна стремглав пронесся офицер с какой-то бумагой. В кабинете на минуту все смолкло. Потом Хайн услышал, как за стенкой много раз повторялось слово «Данциг»... «Почему Данциг? — размышлял Хайн. — Ведь это так далеко, это где-то там, на море!» Он не знал, что это пароль к вторжению.

Рейхенау позвонил. Хайн вытянулся перед ним на пороге кабинета. Он увидел суровые, сосредоточенные лица. Нет, не насчет кофе вызвали Хайна. Ему приказали оповестить всех штабных, чтобы они немедленно явились к командующему армией.

«Что-то вроде начинается, — лениво подумалось Хайну. — Вот еще!»

Он обошел кабинеты штаба и выяснил, что здесь тоже никто не думал спать — все были на ногах, все суровы и молчаливы. Стоя в дверях кабинета шефа, Хайн слышал, как тот читал приказ фюрера: «Вот наконец случилось то, чего мы ожидали много месяцев назад и всегда считали угрозой. Англия и Франция пытаются путем гигантского отвлекающего удара в Юго-Восточной Европе, продвинуться через Голландию и Бельгию в Рурскую область... Я приказываю немецкой Западной армии перейти в наступление через немецкую западную границу на широком фронте...»

Командующему армией пришлось повысить голос, потому что из предрассветной мглы донесся кошмарный грохот, — на большой высоте шли волнами бомбардировщики, с визгом проносились истребители, мимо штаба мчались колонны грузовиков с мотопехотой, танки, броневики, и шли, и шли батальон за батальоном немецкие гренадеры, шли прямо к границе Бельгии, ломая ее, опрокидывая бельгийские части, врываясь с ходу в пограничные села и города, сея смерть и разрушения.

Задача шестой армии Рейхенау — выйти как можно скорее на линию Намюр — Лувен. Танковая дивизия и армейский корпус форсируют Маас, почти не встречая сопротивления англо-французских войск. Ни одного вражеского самолета над колоннами армии Вальтера фон Рейхенау!

Через два дня важнейшие рубежи и районы в руках немцев; бельгийцы покидают канал Альберта и взывают к союзникам о помощи. Французы и англичане, полагая, что немцы повторяют тот же маневр, как и в прошлой войне, бросают свои силы к Антверпену и попадают в западню. Голландцы капитулируют через несколько дней после того, как окончилась «странная война». Немцы переходят границу Люксембурга, войска группы Клейста — в Арденнах.

К половине мая с Бельгией покончено. Франция трепещет в предчувствии чудовищной расправы. Надлом военный сопровождается надломом моральным. Немцы кажутся непобедимыми. Слава вермахта разносится по всему миру.

Шестая армия увенчана лаврами. Путь к новым победам открыт. Вальтер фон Рейхенау получает очередное повышение в чине и ордена. Ничего не получает Хайн. Но зато уж и поблаженствовал этот парень там, в Бельгии! Да за всю жизнь Хайн не перепробовал столько сортов отличнейших вин, колбас, фруктов!..

Неплохо ему было и во Франции. Там повторилась та же картина, которую Хайн наблюдал в Бельгии и Голландии. К двадцатому мая Гот со своими танками ворвался в Камбре, Клейст захватил Амьен. Фюрер разразился приветственными телеграммами, где превозносил своих военачальников до небес. Именно в тот же день он, как бы подслушав заветную мечту советника по земельным делам, заявил, что отныне его политика при-

обретает мировой характер, что, покончив с Францией, он отберет у нее области, отторгнутые у Германии, поставит французов на колени именно в Компьенском лесу, где двадцать два года назад на колени была поставлена кайзеровская империя. А затем... затем на очереди советская Россия.

Конечно, Хайну не довелось присутствовать при разговорах своего шефа с начальником штаба; разумеется, они не сообщили ему, что именно в тот самый день, когда Гитлер сказал, что Франция — труп, он задумал свой поход на русских. Заключить мир с англичанами и, развязав тем самым себе руки, всей громадой германской военной машины наброситься на Советы, дабы, как он объявил фельдмаршалу Рунштедту, «полностью рассчитаться с большевизмом...»

В августе в армию прислали нового начальника штаба. Тогда Хайн и думать не думал, что через какое-то время он станет ординарцем сухопарого, молчаливого генерала Паулюса, внешностью похожего на учителя.

Впрочем, в армии он пробыл всего несколько недель: его взяли в Берлин. Как слышал Хайн, он сразу вознесся на самые верхи, став обер-квартирмейстером генерального штаба сухопутных войск. Это было в сентябре. Тогда-то и кончились золотые денечки Хайна — армию перебросили в Восточную Пруссию. И уж так ее там муштровали! Хайн недоумевал: неужто опять война? Да ну ее!.. В Пруссии ему тоже жилось преотлично, тем более там и девочки свои, немки, не такие капризные и изменчивые, как француженки. Полгода этот во всех отношениях не слишком примерный парень бражничал и гулял.

И тут грянуло! Черт побери, война все-таки началась... Пришлось бросить девушек, гулянки. «Побездельничал — хватит!» — сказал ему Рейхенау. Впрочем, Хайну не долго пришлось служить ему.

«И надо же было так не вовремя помереть ему!..» — с досадой размышлял Хайн, вспоминая теперь, как все здорово начиналось в России. Тогда ему казалось, что с нею расправятся так же легко, как с Польшей, Бельгией, Голландией, Люксембургом, Францией, как разделался фюрер в Дюнкерке с англичанами. На украинских жирных харчах Хайн полнел день ото дня. Он надеялся, что так будет и дальше. И вдруг шеф дал дуба!

«А все от скверной привычки напиваться до бесчувствия!» — бормотал под нос Хайн.

Рейхенау как-то поехал на охоту, вернулся в Полтаву, зашел в казино, наклюкался, потом попросил крепкого кофе.

Хайн заупрямился:

— Господин генерал-фельдмаршал, вам нельзя кофе, у вас больное сердце!

Господин генерал-фельдмаршал гнусно обругал Хайна, и тот подал ему крепчайшего кофе. «На, жри!»

Рейхенау выпил две чашки, потребовал третью, и тут-то его и хватануло. Хайн погрузил фельдмаршала в самолет, чтобы отправиться с ним в генеральский госпиталь в Лейпциг.

«Хо-хо! В Лейпциг, на родину!»

Как ни хорошо жилось Хайну в штабе шефа, но все-таки фронт — это фронт. И вовсе не такой, как на Западе, ох, далеко не такой! Русские не бегут, а при любой возможности колотят прославленные армии; да, они отходят все дальше в глубь России, но, уходя, дерутся как львы, срывая планы командования, огрызаясь, вырывая из дивизий фюрера тысячи солдат. Весь марш по России — черт знает что! Трупы, трупы, подбитые танки, сожженные села, склады продовольствия, выжженные поля...

И вдобавок ко всему кругом бродят партизаны, подстреливая солдат и офицеров, словно куропаток, а настоящими куропатками, как там, в Бельгии, и не пахнет!

Так раздумывал Хайн, летя в самолете. Болезнь шефа затяжная; полгода ему непременно болтаться в госпитале, и он, Хайн, сумеет смотаться домой... Он вез восемь чемоданов разного добра. Украинское сало, мед и теплые вещи, «позаимствованные» им у добрых, мирных украинцев, пригодятся в доме отца. В Германии начались суровые времена, теперь уж не до прошлого раздолья!

Мечтам Хайна не суждено было сбыться — не долетев до Львова, Рейхенау испустил дух. Уж так-то грустил этот малый, уж так-то он привык к пьянчужке-шефу! Тот тоже относился благосклонно к ординарцу и даже подарил ему на память перочинный ножик.

Хайну было невдомек, что смерть шефа опечалила не только его, но и самого фюрера. Мог ли знать глупый

Хайн, что Вальтер Рейхенау был сыном крупнейшего туза, что он и его сынок вкупе с другими тузами и генералами «сделали» фюрера.

Разумеется, Хайн ничего в высшей политике не понимал, а его печаль о столь преждевременно давшем дуба шефе носила характер в большей степени своекорыстный. Тотчас после похорон Рейхенау Хайна снова отправили в армию и назначили ординарцем к тому самому сухопарому генералу, который когда-то был начальником штаба у Рейхенау и как бы по наследству принял от него шестую армию... Но теперь он уже генерал-полковник...

Да если бы Хайн знал, как обернется победоносный марш армии к этому проклятому городу и к этой проклятой реке, черта с два он согласился бы обменять одного неудачника на другого... Уж как-нибудь он бы напросился в ординарцы к какому-нибудь генералу в тылу, мало ли их околачивается там!

«Вот не везет, вот не везет! — горестно раздумывал Хайн. — Конечно, этот подвал куда безопаснее окопа, но чем это все кончится — вот вопрос. Выручит фюрер армию — слава богу, не выручит — подыхать нам либо в этой вонючей яме, либо в большевистской тюрьме. Охо-хо, выпало на мою долю этакое! Один хозяин на том свете, другой, того гляди, уберется туда же, если не попадет в лапы комиссаров. Впрочем, что думать о будущем? Как-никак я сыт, все подлизываются ко мне, все стараются угостить — ведь в штабе отлично знают, что генерал-полковник любит и балует меня. И если он однажды отправил меня в карцер, это было сделано не со зла — не стоило мне путаться с той девчонкой из госпиталя высшего командного состава».

Девчонке из Ганновера не нравилось ухаживание пятидесятилетнего начальника штаба армии генерал-лейтенанта Шмидта. Она была влюблена в Хайна. После объятий старика, каким для нее был Шмидт, ласки Хайна казались такими милыми...

«И все-таки зря я перебежал дорогу начальнику штаба армии, напрасно, черт побери».

Придравшись к какой-то вздорной провинности Хайна, Шмидт пожаловался на него генерал-полковнику. Тот послал Хайна в карцер. Девчонка больше не отказывала Шмидту в ласках — он умел уламывать самых уп-

рямых... Глупейшая была затея, что и говорить. Ненависть Шмидта — вот чем она окончилась, не считая карцера...

Так раздумывал Хайн, медленно, чтобы затянуть время, шагая по коридору. Из комнаты штаба Роске вышел ефрейтор Эберт.

— Здорово, Карл, старина! — Хайн ткнул кулаком в живот Эберта. — Какие новости?

— Сигарету за каждую, — басом сказал Эберт.

— Я продам тебе за три сигареты самую секретную новость, — возразил Хайн.

— Ну, ври больше!

— А вот и не вру. Убей меня бог, если мы продержимся в этом вонючем котле больше месяца.

— Откуда тебе знать?

— Это бормотал сегодня во сне командующий, а я слышал. Он долго ворочался на кровати, потом заснул и начал бредить. Давай три сигареты!

— Мне не надо спать, не надо видеть кошмаров и не надо быть командующим армией, чтобы знать это.

— Нас наверняка всех перебьют, — сказал Хайн.

— Кто знает! Дай закурить. — Толстяк Эберт затянулся и продолжал: — Я перехватил разговор двух русских командующих. Они рассуждали о наших пленных, куда, мол, их девать. Не похоже, чтобы их решили прикончить всех до одного.

— Может, в самом деле они не людоеды, эти большевики, Эберт, а? — с надеждой спросил Хайн.

— Ты дурень! — с видом знатока сказал Эберт. — Воюешь с русскими полтора года и не знаешь их, вот что я скажу тебе. Они такие же люди, как мы с тобой.

— Нам говорили другое. — Хайн вздохнул.

— Мало ли какую чепуху вбивали в наши пустые головы. Разница между нами и русскими, я говорю об этой войне, лишь в том, что сначала мы колотили их, теперь они принялись колотить нас. И видно, всерьез.

— Ну, не расколотят же они всю германскую армию, — неуверенно возразил Хайн.

— Все армии для того и существуют, чтобы уничтожать или быть уничтоженными, — философически заключил Эберт. — Боюсь, как бы этого не случилось с нашей армией. Больно уж крепко русские взялись за нас. Ты знаешь, — шепотом добавил он, — по-моему, наши здо-

рово просчитались, там, на верхах. Не приняли в расчет того, что из себя представляет русский солдат, хотя, черт побери, они могли бы вспомнить, как они дрались с нами в прошлую войну.

— Солдат как солдат, — вяло отозвался Хайн.

— Конечно, — с высокомерным презрением начал Эберт, — кое-кому из генеральских холуев не довелось видеть русского солдата лицом к лицу...

— Ну-ну, ты не очень-то! — вспылил Хайн.

— ...А вот мне, — презрев замечание Хайна, продолжал Эберт, — пришлось хлебнуть с ними горюшка. Нет, Хайн, это, брат, такой солдат, такой солдат!.. В отличие от тебя, щенок, мне пришлось побывать на передовой. Никогда не забуду зиму прошлого года под Москвой. Нам пришлось отбивать атаку русских; это было в голой степи, в голой оледеневшей степи, а мороз был такой, что язык примерзал к нёбу, кишки к ребрам и мозги к черепной коробке. Вот какой был мороз в те дни, да еще с ураганным ветром, который пробивал тебя насквозь! Русские шли на нас, а мы косили их пулеметами, они падали, как подрубленные деревья. Их атака захлебнулась. Она дорого стоила нам, но и русским обошлась не дешево. Ну, наши офицеры думали, что это, слава богу, конец, что русские либо перебиты, а кто не убит, наверняка промерзнет до дна желудка. А через несколько часов, ты слышишь, эти люди, которых мы считали трупами, поднялись с промерзшей земли и опять навалились на нас. И гнали нас по степи, и мы драпали от них, словно ветер, который и в тот день не собирался щадить нас. Вот они какие!

— Н-да! — пробормотал Хайн.

— Но был случай почище этого, — заговорил Эберт после мрачного молчания, словно он видел перед собой русских солдат в обледеневших шинелях, вставших, будто привидения, с земли и бросившихся в атаку. — Я видел, как на Дону наш миномет буквально изрешетил одного русского солдата, сержанта или ефрейтора. Я был в пятнадцати шагах от этого человека, когда, истекая кровью, он собрал последние силы, прикладом автомата раскроил череп одному из наших, потом крикнул своим что-то похожее на «Вперед!» и тут же свалился замертво. Мне пришлось наблюдать и еще одну картину, от которой у меня до сих пор леденеет в жилах кровь. Один

русский танк, подожженный нами, пылавший, как костер, ворвался в наше расположение, давил гусеницами пушки, людей, наводя ужас на всех. Мы бежали от этих горевших в танке сломя голову, а за ним двигалась колонна других русских танков, и в тот день они отогнали нас на пятнадцать километров!

— Это какие-то безумцы, — прошептал, бледнея, Хайн.

— Нет, — задумчиво молвил Эберт, — они не безумцы, Хайн. Я читал в ихних газетах клятву, которую они дали своей власти, обещая нам страшное возмездие. И они не бросали слов на ветер, Хайн. Мне рассказывали солдаты из северной группировки, как один из русских солдат подбил из своего орудия три наших танка. На него лезли другие танки. Солдат израсходовал снаряды. Тогда он выхватил гранату, прижал ее к груди и ринулся под гусеницы. Он погиб, погиб, подбив четыре танка... Да, Хайн, невеселое дело — сражаться с русскими. Вот теперь пришло то возмездие, о котором они писали в своей клятве. Мы без воды, без света, мы жрем конину, мы, словно дикари, обросли шерстью, а в русских газетах ихние солдаты ведут счет тем, кого они убили из своих снайперских винтовок. У иных на счету до тысячи наших людей, и они продолжают бить и бить нас. У них сейчас один лозунг, Хайн: убей немца — скорее кончишь войну! Нет, это народ, с которым зря мы ввязались в драку, уверяю тебя...

Они долго и молча курили. Невесело было Хайну думать, что и он может украсить еще одной зарубкой винтовку русского снайпера.

— Так-то, Хайн! — заговорил Эберт. — Но что делать? Наше с тобой дело маленькое — выжить.

— Это самое главное, — авторитетно подтвердил Хайн и вдруг сорвался с места. — Командующий приказал вызвать Шмидта, а я болтаю тут с тобой, толстяк! — Он снова ткнул Эберта в живот и замаршировал по коридору.

— Стой! — окликнул его Эберт. — Ты не слышал, не дадут ли нам что-нибудь добавочное из жратвы ради Нового года?

— Да, есть приказ: двадцать граммов конской колбасы и две сигареты каждому солдату.

— Чтоб вы пропали! — выругался Эберт.

«Уж я-то не пропаду! — Хайн подмигнул самому себе. — Уж мне-то сегодня перепадет кое-что добавочное. Дома этот день отметят картофельной шелухой, жаренной на прогорклом маргарине, а у меня гусь, хе-хе, целый, огромный гусь! Вот бы позавидовали Эльза и Анна, узнав, каким сокровищем я обладаю!»

Облизываясь, Хайн открыл ту самую дверь, из которой вышел минут пятнадцать назад, — время достаточное для того, чтобы сбегать в соседний подвал, где прямо на полу, на полусгнившей соломе и на окровавленных рогожах лежали раненые — сотни три, если не больше. Хайн был там на днях с генерал-полковником — тот раздавал раненым ордена. Хайна чуть не стошнило при виде крови и гноя. Нет уж, больше он туда не покажет носа! Отдать этим подыхающим гуся? Как бы не так!

Хайн вошел в комнату, называемую приемной, с таким же квадратным окном, забранным решеткой, с теми же голыми стенами, подтеками и изморозью в углах, что и в комнате командующего армией. Только вместо стола у окна стояла ученическая парта, обыкновенная парта, с сиденьем, до блеска натертым штанами тех, кто занимался за ней.

Как-то от безделья Хайн попытался разобрать слова, вырезанные перочинным ножом на поверхности парты. Особенно его заинтересовала таинственная формула «Катя+Ваня=любовь». Хайн так и не понял, что это такое. Не понял и других загадочных знаков и изречений. Русский язык чертовски трудный, понять его невозможно. Да, непонятные, загадочные и сложные эти русские.

Налево — комната командующего армией, направо — начальника армейского штаба Шмидта. Хайн осторожно постучал в правую дверь.

— Да! — раздался резкий голос.

Хайн вошел и стал навытяжку.

В обшарпанном кресле сидел генерал-лейтенант Шмидт, пожилой человек, с холеным лицом, подтянутый, тщательно выбритый, одетый словно с иголочки. Он курил скверную эрзац-сигару, распространявшую вонь.

— Ну что? — спросил Шмидт, неприязненно взглянув на Хайна: он еще не простил ему историю с той девчонкой из Ганновера.

— Господин командующий просит вас к себе, господин генерал-лейтенант.

— Сообщи господину генерал-полковнику, что я буду через двенадцать минут. Мне должны передать важное сообщение из ставки верховного главнокомандования.

— Слушаюсь.

— Скажи, Хайн, командующий уже завтракал?

— Никак нет. Он съел маленький ломтик гусятины.

— Значит, на обед у нас будет гусь? Славно, славно! — Шмидт проглотил слюну. Хайн заметил это.

— Никак нет, — злорадствуя, отчеканил Хайн. — Господин генерал-полковник приказал отдать гуся тяжелораненым. И я отнес его им.

— Идеализм, этот вечный идеализм, — пробормотал Шмидт.

— Мне можно идти? — осведомился Хайн, радуясь, что ни единого кусочка гусятины не перепадет Шмидту.

— Иди.

Хайн сделал отчетливый полуоборот и уже открывал дверь, когда услышал голос Шмидта:

— Что ты делал в заколоченной уборной, Хайн?

Хайн почувствовал, как кровь залила лицо. Уличить его во лжи ничего не стоило — в таких случаях он краснел до ушей.

— Я не понял вас, господин генерал-лейтенант, — Хайн повернулся к Шмидту.

— Меня отлично поняла твоя покрасневшая до корней волос физиономия, Хайн.

— Я... я оправлялся, господин генерал-лейтенант.

— Вот как? Несмотря на строжайший запрет?

— Я спешил из госпиталя к вам и...

— ...и все мы должны наслаждаться тем букетом запахов, которыми ты одарил нас в канун Нового года? Не так ли, Хайн?

«Слава богу, про гуся не знает!» — мелькнула мысль у Хайна.

— Я исправлю свою вину, — пролепетал он.

— Да, Хайн, ты соберешь то, что оставил в уборной, выйдешь во двор и сделаешь со своим добром, которым набит не только твой живот, но и голова, что тебе заблагорассудится.

— Слушаюсь.

— Слушаюсь, господин генерал-лейтенант, хотел ты сказать?

— Так точно, господин генерал-лейтенант! Можно выполнять приказание?

— Да, болван. Мог бы догадаться и принести мне хотя бы гусиную ножку. Иди!

Хайн снова сделал полуоборот по всем правилам и закрыл дверь.

«Подлая крыса! — шептал он. — Сгнившая падаль! Уж тебя-то я обведу вокруг пальца! И завтра же пойду к той девчонке из Ганновера!»

Хайн медленно поплелся по коридору, вскрыл уборную, для виду повозился там, вышел, закрыл дверь, не спеша продефилировал по двору, обошел запорошенные снегом машины, также не спеша вернулся и вымыл руки снегом.

— Сукин сын, — выругался Хайн, — вот я и обманул тебя.

Он спустился в подвал, загнул гвоздь на двери и направился к себе.

Командующий все еще шагал по комнате.

— Где ты пропадал, Хайн?

— Был в госпитале, господин генерал-полковник, потом разговаривал с господином генерал-лейтенантом. Он остался очень недоволен тем, что вы отдали гуся. Ему так хотелось откушать гусятины в этот день.

— Обойдется, — сухо сказал Паулюс. — Он скоро придет?

— Да.

— Иди к себе. Ты не нужен мне до обеда.

— Вы будете обедать один?

Генерал-полковник не ответил. Хайн ушел в клетушку, которую делил с полковником Адамом. Он слышал, как генерал-полковник все ходил и ходил из угла в угол.

«Гм! Здесь еще есть русские? Но ведь мне говорили, что они поголовно все бежали. То же самое докладывал комендант города. Нет, это надо проверить!»

В дверь постучали.

— Да! — сказал командующий.

Вошел его армейский адъютант полковник Адам, рослый, довольно молодой, с лицом, разрумянившимся от мороза. Оптимизм при любых обстоятельствах и общительность сделали Адама всеобщим любимцем в штабе.

Генерал-полковник любил и ценил его. Как никто другой, Адам умел отвлечь шефа от невеселых дум, особенно когда армия оказалась в котле и конец неотвратимо надвигался.

— Добрый день еще раз, — весело сказал Адам.

— Какие новости, Адам?

— Да все то же, эччеленца. — Адам одно время имел дело с итальянскими военными людьми и от них перенял это словечко, равнозначащее «вашему превосходительству». — А что здесь?

— Вы уже знаете о сдаче Котельникова?

— Увы!

— Наши надежды лопаются одна за другой словно мыльные пузыри, Адам.

— К счастью, для меня, разумеется, я давно уже лишился этой надежды и уповаю лишь на господа бога. — Адам усмехнулся; не слишком веселой была его усмешка. — Надежда теперь перебежала к русским, — добавил он. — И бог, очевидно, на их стороне.

— Он всегда на стороне больших батальонов, — повторяя слова Бонапарта, ворчливо сказал генерал-полковник. — У нас их все меньше, у них все больше. Понятия не имею, откуда они берут столько людей! Словно русские матери рождают Советской власти готовых солдат и офицеров.

Адам рассмеялся:

— Мне думается, эччеленца, дело не только в количестве солдат, но и кое в чем еще. Сегодня я читал русскую фронтовую газету.

Адам вытащил из кармана газету — две страницы жесткой, желтоватой бумаги.

— О, это очень интересно! — воскликнул Паулюс. — Расскажите-ка, Адам, что в ней...

— Вот коротенькая передовая статейка, эччеленца, о взятии Котельниково. Они пишут, что Котельниково стало могилой десятков тысяч наших солдат. К несчастью, они правы и здесь. Русские утверждают в этой статье, что наступает час расплаты. Они призывают к тому, чтобы в новом году крепли удары по немецко-фашистским оккупантам, они зовут вперед, на Запад. И полная уверенность в победе, эччеленца. Фотография русского солдата, видите? Он разведчик, по-видимому. О нем пишут, что он совершил семьдесят пять вылазок в наши

тылы и убил девянсто наших солдат. Впрочем, этот солдат — младенец по сравнению с другими русскими снайперами. У них есть знаменитый Зайцев, на его счету, как я вычитал, около трехсот наших...

— Это какие-то людоеды, — нахмурился командующий.

— Будь такие же «людоеды» у нас, эччеленца, мы раззвонили бы о них на весь мир, — жестко возразил Адам.

— Не будем спорить. Дальше! — коротко бросил генерал-полковник.

— Здесь напечатана инструкция о быстроте и натиске при контрнаступлении, но это не так интересно. — Адам перевернул газету. — Утренняя сводка Советского информбюро: наступают, наступают и наступают... Любопытная заметка: русское военное издательство к Новому году выпустило сборник песен, сочиненных советскими поэтами за годы войны, большая часть их посвящена сражению на Волге. Ожидается прибытие на фронт концертных бригад...

— Концертных бригад, — почти беззвучно повторил Паулюс. — А что нам ждать, Адам?

— Концерта их «катюш», — угрюмо выдавил Адам.

Они помолчали.

— Но самое примечательное в этой газете — стихи. Они называются «В новогоднюю ночь». Написал их, вероятно, солдат. Они не слишком высоки по форме, но по содержанию... Хотите послушать?

— Я не пойму...

— От нечего делать, я перевел стихи, — смущенно сказал Адам. — Они понравились мне глубиной и задушевностью чувств.

— Я слушаю вас. — Генерал-полковник плотнее закутался в шинель.

Колючий снег, огни на горизонте,
В походных кружках кислое вино.
Уже вторично Новый год на фронте
С тобой, мой друг, встречать нам суждено.
И снова, средь боев и непогоды,
Сомкнув у дымной печки тесный круг,
Мы вспоминаем прожитые годы,

Своих друзей и дорогих подруг.
...Придет рассвет. Сквозь вьюгу и ненастье,
Примкнув штыки, в сраженьях закален,
За власть Советскую, за будущее счастье
Поднимется в атаку батальон.
Пусть отгремит в боях зима и лето,
Но я, как все, мечтаю об одном:
Чтоб мы с друзьями светлый праздник этот
Встречали в нашем городе родном...

— «Встречали в нашем городе родном!» — повторил генерал-полковник. — Нам, Адам, долго не придется встречать Новый год в городе родном. Если вообще суждено встретить еще один Новый год!

— Не стоит падать духом, эччеленца. Еще не один Новый год встретим мы.

Командующий покачал головой.

— Вы оптимист, вы неисправимый оптимист, Адам, вам легко жить! — Он вздохнул. — Скажите, в детстве вы были очень послушным?

— О нет, эччеленца, — со смехом возразил Адам. — Мне здорово попадало за мои выходки. Мне все время твердили, что я вовсе не похож на примерного немецкого мальчика.

— Как раз наоборот говорили обо мне, — с горечью признался генерал-полковник. — Мать и отец особенно ценили во мне это ужасное послушание и не переставали бахвалиться, что их Фридрих — самый примерный немецкий мальчик. Господи, как бы я хотел не быть им... Вон Хайн... Да, кстати, — оживился он. — Хайн украл где-то гуся. Мне в подарок к Новому году!

— Мошенник! — Адам усмехнулся. — Ну, мошенник!

— Он украл гуся у какого-то русского старика. Оказывается, в городе еще есть русские, а я не знал. Впрочем, об этом потом. Никаких вестей от главного командования?

— Сейчас я заходил к радистам. Ничего, эччеленца.

Паулюс подавил вздох, готовый вырваться.

— А я все жду чего-то, — с горечью признался он.

— Ждать благоразумия? От кого? Не от старика ли Кейтеля, или, как его все называют, Лакейтеля?

— Но-но, Адам! Вы слишком позволяете себе...

— И ничуть, эччеленца! Или вы ждете разумных ре-

шений от Иодля, готового на любую подлость?

Генерал-полковник промолчал.

— Нет, нам нечего больше ждать, эччеленца. Надо самим принимать какие-то решения.

— Какие?

Адам не успел ответить — в дверь снова постучали.

— Да, — сказал генерал-полковник.

Вошел Шмидт.

6. ЕЩЕ ОДИН ГУСЬ

Глаза Шмидта прежде всего обшарили стол. Бутылка с коньяком на месте, блюда с гусем нет. Стало быть, этот негодяй Хайн, вопреки своему обычаю, не солгал.

— Как ваше здоровье? — обратился Шмидт к командующему.

— Так себе. Неважно.

Генерал-полковник отлично знал, что Шмидту глубоко безразлично его физическое состояние. Он недолюбливал начальника штаба, недолюбливал, сам не зная почему, хотя и высоко ставил его оперативные способности. Разумеется, он понятия не имел, что Шмидт, как о том шептались вокруг, — тайный агент гестапо, приставленный к нему несколько месяцев назад. Эти разговоры еще не дошли до командующего, а если бы и дошли, он вряд ли поверил им. Шмидт — гестаповец и, значит, член партии наци? Вздор!

«Солдат и политика — вещи несовместимые», — говорил фюрер. — Политика не наше дело. Мы должны воевать и сломить сопротивление врагов фюрера, нации, каждой немецкой семьи, потому что враги только и думают, как бы уничтожить германский народ». Так привык думать и говорить генерал-полковник, обманывая или стараясь обмануть себя, разглагольствуя при каждом удобном случае, что он только солдат, только солдат, — слышите?

И хотя командующий в душе сознавал, что никто не помышляет об уничтожении огромной нации, он усердно вколачивал эту мысль в головы своих подчиненных, а его армия уничтожала тех, кто якобы мечтал уничтожить всех немцев. Так было удобно думать, такие мысли устраивали генерал-полковника.

— Вы слышали новость? — спросил он, предложив

жестом Шмидту стул. Сам он присел на узенькую койку. — Русские взяли Котельниково. Манштейн отступает.

— Да, к сожалению. — Шмидт хранил на лице непроницаемое выражение. — Но думаю, далеко не все потеряно. Стратегический маневр, только и всего. Отход на новый рубеж, где Манштейн, разумеется, снова соберет силы для прыжка к нам.

— Вы полагаете, что эти силы еще есть? — бесстрастно спросил генерал-полковник.

— Полагаю.

— Верующий да верует, — пробормотал Паулюс.

— ...Иначе чем объяснить ответ фюрера на вашу радиограмму, — помолчав, сказал Шмидт.

— Вы получили ответ? — оживившись, спросил генерал-полковник.

— Да.

— И что там?

— Сражаться. Таков ответ фюрера.

— Таков ответ фюрера... — машинально повторил командующий.

— Таков ответ нашего верховного вождя, — подтвердил Шмидт.

Очень долгое молчание.

— Скажите, он здоров?

— Кто?

— Фюрер, — раздраженно сказал генерал-полковник.

— К чему этот вопрос?

— Просто так. — Паулюс положил голову на жесткую подушку и хотел вытянуть ноги, но, вспомнив, что койка коротка ему, оставил ноги на полу. Ему было совершенно все равно, что ответил фюрер на телеграмму. Он заранее знал его ответ, а Шмидта спросил просто ради того, чтобы спросить хоть что-нибудь.

— Надеюсь, он здоров. — Шмидт пожал плечами.

— Дай бог. Здесь он мог бы легко простудиться. Я рад, что он и рейхсмаршал Геринг не навестили нас. Глава государства, главнокомандующий и его ближайший друг, советник и второй по значению человек в рейхе, должны заботиться о своей безопасности больше, чем мы, Шмидт. Какое горе могло бы постичь германскую нацию и нашу победоносную армию, если бы вдруг с фюрером и рейхсмаршалом Герингом случилась ка-

кая-нибудь неприятность! Нация и армия были бы убиты горем, вы не находите?

Шмидт находил, что командующего не понять: то ли он иронизирует, то ли говорит всерьез. В последнее время этот непонятный тон начал тревожить Шмидта, но пока для соответствующего доноса веского материала не было.

— Вы боготворите нашего фюрера, я вижу? — начал он для затравки.

— Мы особенно высоко ценим в нем гений полководца, — заговорил Адам, — а превыше всего его отеческую заботу о величии и благополучии германской нации. Эта война, господин генерал, принесет неисчислимые радости нашей родине, даже если мы с вами, а с нами триста тридцать тысяч солдат и офицеров сложат головы в этом городе, на берегу этой реки. Я верю, что триста тридцать тысяч матерей, отцов и жен и по меньшей мере шестьсот тысяч детей не упрекнут фюрера за то, что он послал сюда их сыновей, мужей и отцов помирать или замерзать.

— И я уверен в этом, — согласился Шмидт.

Этот разговор то и дело прерывался. Офицеры приносили сводки, приказы и другие бумаги. Генерал-полковник, вооружившись очками, просматривал и подписывал их, после чего передавал Шмидту. Тот, скрепив своей подписью подпись командующего, выпроваживал ординарцев и вестовых. Ему хотелось уйти и часок-другой поспать, но командующий в этот день был разговорчив, что случалось с ним довольно редко. Шмидт сидел, выуживал из пространных словоизлияний шефа и его адъютанта то, что ему могло пригодиться в будущем.

Прикрыв дверь за последним офицером, Адам вернулся к своей теме.

— Я преклоняюсь также перед высокой честностью и правдивостью рейхсмаршала Геринга, не говоря уже о его исключительной храбрости, которую он проявил, скажем, при поджоге рейхстага.

— То есть? — попросил уточнения Шмидт.

— Вспомните, как мужественно он вел себя на знаменитом процессе в Лейпциге, когда судили Димитрова. Кажется, так звали того коммуниста? Бог мой, с какой отвагой рейхсмаршал бросался на него и как искусно

отводил лживые обвинения большевиков в том, что рейхстаг поджег он сам.

— Да, да, как же, как же, конечно помню! — живо откликнулся Шмидт. — Правда, он немного нервничал тогда.

— Помилуйте, господин генерал! — весело возразил Адам. — Да он рычал как тигр, приходил в бешенство и грозил виселицей Димитрову, но ведь клевета может вывести из себя кого угодно.

— Разумеется!

— И не забудьте его чудесной откровенности. В моих ушах до сих пор звучат его слова. Вы, вероятно, тоже помните их: «Каждая пуля, вылетевшая из дула пистолета полицейского, подчиненного мне, — моя пуля. Если кто называет это убийством, значит, это я убил... Я приказал это, и я принимаю на себя ответственность за это...» Какая могучая сила в этих словах, какой вызов прогнившему обществу и разным слюнтяям!

— Да, но примите и то во внимание, что каждая пуля, выпущенная из автомата солдата, подчиненного нам, — это наша пуля.

— Правильно, совершенно верно! Различие, оно, конечно, вздорное, в том, что по нашему приказу убивают вооруженных людей, которые сами убивают нас. В кого стрелял рейхсмаршал, вы не можете вспомнить? В те времена, когда были произнесены эти слова, рейхсмаршал был начальником полиции Пруссии. Я не ошибаюсь?

— Нет. — Разговор все больше и больше не нравился Шмидту.

— Да, да, он был верховным начальником прусской полиции. Враг в те времена не стоял у ворот Берлина и не стрелял в немцев.

— Были внутренние враги, — буркнул Шмидт.

— Простите, я забыл о них, — чистосердечно признался Адам. — Марксисты, евреи, социал-демократы и прочая несогласная с фюрером чернь. Да, он хорошо управился с ней. Отличная была работа! Разумеется, ему помогло гестапо вылавливать этих чудовищных преступников. Кажется, он сам и создал гестапо... Прекрасное учреждение, господин генерал, вы не находите?

Шмидт всполошился. Неужели слухи о его причастности к гестапо дошли до адъютанта?

— Я не знаком с этим учреждением, — пробормотал он. — Очевидно, это тайная полиция, которая существует везде.

— Разумеется! — подхватил Адам. — Но рейхсмаршал Геринг и его преемник рейхсфюрер СС Гиммлер поставили его высоко над всеми подобными учреждениями. Они привили его сотрудникам исключительную гуманность, вселили в них дух самоотверженности и внутреннего благородства. Мне припоминается дело Рема. Как идеально чисто была проведена та оздоровительная кампания!

Генерал-полковник, усмехаясь про себя, слушал этот разговор, хотя лицо его хранило полную непроницаемость. Да, он тоже помнил то дело. Не только помнил, но и отлично знал истинную подоплеку «путча», которого, как утверждали потом историки, вовсе не было.

Просто Рем, тот самый Рем, который подкармливал своего шпиона Адольфа Гитлера, а потом ставший большой шишкой в империи фюрера и главой штурмовых отрядов СА — а в них было ни мало ни много три миллиона человек, — видно, возмечтал поконкурировать с рейхсвером и сделаться шишкой несравненно более видной.

Это пришлось не по вкусу генералам, поставившим Гитлера к кормилу власти. Помилуйте, какой-то проходимец хочет, видите ли, стать единоличным хозяином всей армии, СА и СС! Разумеется, Бломберг и К° не прочь были бы поживиться пушечным мясом из отрядов СА. Там что ни человек, то отъявленный головорез — клад для будущей грандиозной армии фюрера. Но, имея виды на пушечное мясо, генералы вовсе не думали делиться властью в армии с Ремом и его камарильей, его собутыльниками и гомосексуалистами.

Представители рейхсвера намекали и прямо заявили фюреру, что дальше такое положение терпеть невозможно: либо штурмовики, либо хорошо сколоченная армия. Не то, батенька, мы подумаем, не посадить ли вместо вас кого-нибудь другого, кто бы не шатался между Ремом и рейхсвером...

Рема пристрелили, быть может, еще и для того, чтобы фюрер мог отделаться от свидетеля своего довольно-таки гнусного прошлого. Штурмовики отныне не омрачали господ генералов — с ними было покончено. «Свой человек рейхсвера» доказал на деле, что он «всегда будет нашим».

7. ТРИ ПОЩЕЧИНЫ

— Нет, господин генерал, — сказал Адам и тем вывел генерал-полковника из задумчивости. — Вы должны согласиться со мной: рейхсмаршал Геринг — великий человек.

— О да! — Шмидт все еще не мог постичь, где в словах самого близкого и доверенного человека командующего армией искренность и где преступное осуждение.

— И как он выручил нас! Он делает все возможное, чтобы помочь нам. Мы не забудем этого никогда. Пусть не забудет и Германия.

Адам замолчал. Молчал и Шмидт...

На миг перед внутренним взором командующего возник теплый сентябрьский день; комната где-то в лесу под Винницей, стол, заваленный картами; страстно жестикулирующий человек с усами в униформе СС, дергающиеся губы, дико вращающиеся глаза.

— Мой фюрер, я бы просил вас принять во внимание то обстоятельство, что готовящееся наступление на большую излучину Дона не совсем обеспечено.

— То есть? — был надменный вопрос.

— Я говорю, мой фюрер, о все более удлиняющемся и слабо защищенном северном фланге. С другой стороны, имею в виду не очень высокую боеспособность войск на направлении главного удара вследствие отвлечения сил для обеспечения флангов.

— Короче! Короче и ясней!

— Мой фюрер, совсем недавно на Дон прибыли союзные войска. Их боевой опыт низок. Наступление совсем небольших русских сил в конце августа привело к тому, что итальянцы отступили сразу на двадцать километров.

— Трусы! Дальше?

— Я смею указать на слабость фронта у Волги, мой

фюрер, и на опасность, повторяю, создавшуюся на флангах.

— Вы паникер!

— Мой фюрер...

— Что вам надо в конце концов?

— Для взятия этого города на Волге, мой фюрер, мне нужны три свежие пехотные дивизии.

— Мы подумаем.

— Мой фюрер, я хотел бы знать ответ теперь.

— Вы получите его через командующего группой армий «Б» барона фон Вейхса. Возвращайтесь в армию. Этот город должен быть взят. Я ожидаю от вас, что при напряжении последних сил будет достигнут берег Волги на всем протяжении города и тем самым будет создана предпосылка для обороны этого бастиона.— Резкий взмах руки вверх. — Все!

— Хайль Гитлер! — Дверь открывается и закрывается за генерал-полковником. На своей спине он чувствует взгляд фюрера — взгляд удава.

Паулюс возвращается в армию. Да, ему дают подкрепление из армии Гота: две почти обескровленные танковые и одну пехотную дивизии, зато армия должна принять боевые участки двух переданных дивизий, так что на деле командующий получает только одну дивизию, да и ту невероятно потрепанную русскими. Но и ее по частям забирают в другие соединения... Генерал-полковник шлет главному командованию и самому фюреру доклады, расчеты, схемы. Он доказывает, что надо прекратить наступление, просит снять с фронта танковый корпус, чтобы, пополнив его, использовать в качестве ударного кулака. Ему неизменно отказывают.

В октябре Паулюсу доносят о безусловной подготовке русских к грандиозному наступлению. Он сообщает об этом верховному главнокомандованию сухопутных войск. Оттуда приходит ответ, подписанный Цейтцлером: «Русские уже не располагают сколько-нибудь значительными оперативными резервами и больше не способны провести наступление крупного масштаба. Из этого мнения следует исходить при любой оценке противника...»

И это в октябре! В том ужасном октябре, в дни кровавых боев, когда армия берет приступом каждый цех, каждый квартал, каждый дом!

Тикают часы. Адам и Шмидт молчат и курят. Все шагают по двору солдаты и офицеры; редкая стрельба нарушает молчание дня.

Генерал-полковник, вспоминая часы, проведенные в Виннице, усмехается. Он думает о бесплодных мечтаниях верховного командования взять этот город на Волге — мирный промышленный город, окруженный бескрайними степями, вовсе не похожий ни на крепость, ни на бастион, да и не готовившийся стать крепостью, но где каждый закоулок, каждая комната, подвал, чердак и даже лестничная клетка — почти несокрушимые крепости. Ему припоминаются слова фюрера на том знаменитом мартовском совещании в год начала войны, когда решалась дата вторжения в Россию. Фюрер сказал тогда, что идеологические узы недостаточно прочно связывают русский народ... Недостаточно прочно!..

Но в этом городе, черт побери, русский солдат так прочно защищает эти самые узы, как Паулюсу еще не доводилось видеть. Он стреляет до тех пор, пока не кончаются патроны. Но и тогда он не сдается, он идет в штыки. Уже умирая, он все еще продолжает сопротивляться. Его не отодрать от этой земли. Он как бы примерз к ней, к этим камням, к железной арматуре заводов, провисших под бомбовыми ударами, к этим стенам, исклеванным очередями пулеметов и автоматов, к металлу и бетону, взорванному, перекрученному, искрошенному огнем, к этому городу, погибшему под грохот снарядов, под вой бомбардировщиков, под рев пламени пожаров.

И опять — в который раз! — генерал-полковник задал себе вопрос: «В чем дело? В чем же их сила? Неужели такие оптимисты они, если верить этим стихам, что читал Адам? Неужели действительно так бесконечно дорога им их власть, их порядки? Но ведь нам вбивали в головы, что русские ненавидят эту власть, презирают эти порядки? В чем же загадка этих поистине железных душ, сказочных исполинов, русских белокурых богатырей, рожденных революцией?»

Командующий читывал в свое время Достоевского и Льва Толстого — великих знатоков русской души. Но и читая их прославленные книги, он не находил ответа: что главное в этой душе? Да, она беззаветно суровая, но и нежная, сильная своей мужественностью и слабая

добротой, бездонна глубиной и богатая внутренним содержанием, но такая противоречивая!

«Куда ж исчезли все эти противоречия, когда они схватились с нами, вооруженными до зубов? Неужели они дерутся за ту самую жизнь, полную ограничений?»

— Адам, — нарушив молчание, сказал генерал-полковник. — Вы знаете русских. Скажите, за что, за какие блага настоящего или будущего они дерутся так отчаянно? Я читал их книги, их газеты, я ничего не могу понять...

Шмидт шмыгнул носом: «Уж эта мне философия!»

Адам хмуро посмотрел в окно. Он не спешил с ответом. Потом сел за стол, склонил голову, сжал губы. Уже не мальчишкой он казался в эти минуты Паулюсу.

— Видите ли, эччеленца, — неторопливо заговорил Адам, — я читал их книги, их газеты, как и вы. Но ответ на вопрос, который постоянно присутствовал и у меня в голове, я нашел. Нашел в клятве солдат русского фронта, которая была напечатана в дни их национального праздника седьмого ноября. Если помните, тогда мы были ближе всего к победе. Фронт шестьдесят второй русской армии, защищающей этот город, почти рухнул. Нам казалось, что еще день-два — и приволжская степь станет их кладбищем. Но не помните ли вы также радиограмму, перехваченную нами, в которой командующий этой армией генерал Чуйков обратился к своим солдатам с фразой, — она никогда не будет забыта мною. Он сказал: «На левом берегу Волги земли для наших могил нет!» Вы слышите! — воскликнул Адам. — Для них не нашлось бы земли под могилы, уйди они с правого берега, она отказалась бы принять их. Но это еще не все. В той клятве народу русские солдаты ясно ответили на вопрос, поставленный вами, эччеленца. Русские солдаты клялись перед полками других фронтов, перед своими боевыми знаменами биться до последней возможности, отомстить кровью наших солдат за то, что мы сделали с этим городом, разрушив дома, больницы, школы, заводы. Одна фраза врезалась мне в память. Там говорилось: «Здесь, под Сталинградом, решается вопрос — быть или не быть свободным русскому народу. Вот почему, — писалось в той клятве, — мы напрягаем все силы, вот почему сражаемся до последнего, ибо каждый из нас понимает, что дальше отступать нель-

зя...» Они писали также, что видят протянутые к ним костлявые руки матерей, исхудавшие ручонки детей, слышат раздирающие звуки миллионов угнетенных братьев, зовущих их на помощь. Вот почему, эччеленца, они считают своим долгом не только остановить, но и разгромить нас, вот почему они с этой мыслью бросаются на нас, сжимая в руках оружие, вот почему каждый их боец, убивающий наших солдат, — герой в глазах русского народа. Увы, господин генерал-полковник, мы вынуждены признать, что воля русского солдата оказалась тверже нашей стали, сильнее нашего оружия, всей нашей имперской мощи. Он сражается за свободу своего народа, своей земли, он не хочет быть чьим бы то ни было рабом. Скажите, во имя чего сражается наш солдат в этом котле? Мы лжем нашим солдатам. Котельниково в русских руках, а господин генерал Шмидт приказал офицерам распространять среди солдат слухи, будто Манштейн вот-вот выручит нас. Мы обещали нашему солдату выручку в конце ноября. Обещали, и это уж непременно, к рождеству... Потом к Новому году... Мы раздаем пряники, но у нас свирепствует и кнут. Повиновение солдат достигается в ряде случаев драконовскими мерами, эччеленца, и уж лучше вам знать правду от меня, чем ложь от наших штабных. Но разве утаишь шило в мешке? Безнадежность — вот наш удел. И этим чувством мало-помалу проникаются все, кто там, в окопах, дерутся бог весть ради чего. Быть может, ради престижа одного человека... Или есть еще какая-то цель этой бессмыслицы? Так пусть ее объяснит вам генерал Шмидт.

Шмидт предпочел слушать, запоминать и помалкивать. До поры до времени. Он дрожал от ярости. Он уже приговорил Адама к четвертованию за моральную измену.

Но и генерал-полковника пробрала дрожь, дрожь человека, столкнувшегося с чем-то невероятным, что может присниться лишь в кошмарном сне:

«Господи, да разве все эти недели не были сплошным кошмаром? — думалось ему. — Фюрер явно недооценил военную и моральную силу русских. Он отказывался верить в военный гений русского командования. В первых поражениях русских армий он видел близость тотальной победы. Он не хогел принимать во внимание опас-

ность на флангах, и вот теперь никакого фланга нет, он смят, сломлен, разгромлен русскими... мы в котле...»

Паулюс начинает сомневаться в благоразумии верховного главного командования, он трепещет при мысли, что военная стратегическая мысль русских несравненно более широкая и глубокая, что она основана на пристальном изучении обстановки в целом, что вопреки мнению фюрера она покоится на сознании прочности идеологических уз, что русские мыслят здраво, а не химерами величия и надменности, которые властвуют там, в ставке нашего верховного...

Теперь ему кажутся такими наивными все попытки воздействовать на благоразумие фюрера. Чего он добился? Только одного: фюрер даже имени его слышать не может без потока ругани. Он не доверяет ему, он приказывает передать под единое командование генерала артиллерии фон Зейдлица северный и восточный участки фронта армии, и за свои действия Зейдлиц несет ответственность непосредственно перед фюрером. Пилюля позолочена — это, мол, не затрагивает ответственности командующего за общее руководство армией...

Здоровенная пощечина, что и говорить! Но и с ней смиряется командующий. Он смиряется еще с одной: не его, а командира танкового корпуса Хубе вызывают в ставку для личного доклада фюреру о положении в армии. Наконец, он получает третью пощечину, на этот раз от личного адъютанта фюрера Шмундта, прилетевшего для инспекции. Шмундт, этот обер-лакей Гитлера, не стесняя себя вежливостью, ибо она не принята в штабе фюрера, заявляет генерал-полковнику, что тот в ближайшее время получит новое назначение, а командующим армией будет Зейдлиц, к которому фюрер вдруг воспылал особенным доверием...

И эта пощечина не оставляет заметного следа. Паулюс еще верит, будто он и в самом деле понесет какую-то там ответственность перед верховным главнокомандованием и немецким народом, если не прикажет своим солдатам держаться, держаться и держаться в этом проклятом городе, ибо в противном случае это угрожало бы развалом южного участка и всего Восточного фронта вообще. Кому ж охота принимать на себя такую ответственность, помилуйте!

В этой мрачной обстановке, когда все летит к чертям, когда петля уже чувствуется на шее, когда никто наверху не верит генерал-полковнику словно нарочно, его оставляют в армии подыхать вместе со всеми. Одно его радует, радует зло: тот самый Зейдлиц, в котором фюрер видит человека, способного сотворить чудо, этот Зейдлиц вовсе не польщен особым доверием, оказанным ему. «Ха-ха! — посмеивается про себя командующий. — Не Зейдлиц ли постоянно натравливает меня на высшее командование, не он ли три, пять, двадцать раз советовал мне поступать, как велит моя совесть, даже вопреки приказам фюрера? Он говорил это в ноябре, после окружения, он твердил это потом, говорил, что надо пробиваться, пробиваться из котла во что бы то ни стало... Ха-ха! Вот так особо доверенное лицо! Воистину, когда бог наказывает человека, он лишает его разума!

Неужто все они там потеряли разум? Но, бог мой, а мой-то разум при мне ли? Так же он ясен, как некогда? Что мне ждать? На что рассчитывать?»

Прошел ноябрь, наступил декабрь, деблокирование окруженной армии провалилось, войска почти потеряли боеспособность, генерал-полковник шлет одну радиограмму за другой, требуя разрешения выйти из котла. Еще было достаточно автомашин, чтобы погрузить часть пехотных дивизий и увезти с собой раненых, еще было двести танков для прорыва... И снова приказ фюрера: «Каждый солдат шестой армии вступит в новый год с твердой верой в то, что фюрер не оставит на произвол судьбы героических бойцов на Волге...» И генерал-полковник верит! Верит, словно забыты пощечины, словно впервые фюрер обманывает его, армию, народ...

Он созывает своих генералов, и те мрачно слушают командующего.

— Господа генералы, — резким тоном отвечает он еще на один призыв Зейдлица следовать велению совести, — всякий мой самовольный выход из общих рядов или сознательные действия против отданных приказов означали бы принятие с самого начала ответственности за судьбу соседних войск, а в дальнейшем — за судьбу южного участка и тем самым всего Восточного фронта...

Генералы курят и продолжают мрачно молчать, упершись глазами в пол. Что им до Восточного фронта? Они не хотят подыхать здесь, на этой реке.

Командующий продолжает:

— Это означало бы, что в глазах всего немецкого народа на меня, по меньшей мере внешне, ляжет основная часть вины за проигрыш войны. Вооруженные силы и народ не поймут такие действия с моей стороны. По своим последствиям они представляли бы собой исключительно революционный, политический акт против фюрера. Такая мысль не входит в мои личные соображения. Она чужда моей природе. Я солдат и считаю, что именно послушанием служу своему народу... Перед войсками и вами, командирами армии, а также перед немецким народом я несу ответственность за то, что до конца выполняю приказы, отданные мне верховным командованием об удержании позиций.

Генералы расходятся молча. В их душах — буря, но пойди выйди из повиновения! Кто знает, может, русские не такие уж исчадия ада, чтобы расстреливать всех пленных... Стало быть, есть надежда... Но какая может быть надежда спасти жизнь, если тебя поставят к стенке только за один намек на капитуляцию?

...И вот Гитлер вызывает к себе генерала Хубе. Паулюс читает ему перед вылетом длинное наставление. Он просит Хубе рассказать фюреру о бедственном положении солдат, о тысячах раненых, остающихся без присмотра, без врачей и медикаментов, о голоде, психозе страха... Пусть Хубе умоляет фюрера увеличить снабжение армии самолетами...

Хубе кивает. Самолет готов к вылету. Генерал-полковник кричит ему еще что-то. Дверь закрыта, самолет улетает. Проходят дни. Хубе возвращается. Да, он видел фюрера и говорил с ним. Вот их разговор.

— Но рейхсмаршал Геринг заверил меня, что снабжение армии идет нормально!

— Это не совсем так, мой фюрер.

— Пусть он сам скажет вам. Вызвать рейхсмаршала! Здравствуй, Герман. Повтори, можно ли осуществить полное снабжение армии Паулюса по воздуху?

— Адольф, разве ты сомневаешься в том, что ВВС справятся со снабжением армии?

— Этого быть не может, господин рейхсмаршал, и вы отлично это знаете!

— Вы некомпетентны в этих делах, черт побери. Я клянусь, Адольф, понимаешь, клянусь.

— Господин рейхсмаршал, сколько тонн необходимо перебрасывать каждый день армии?

— Это что, допрос? — Тучный живот снова заколыхался от ярости. — Он устраивает мне допрос, этот генерал, подчиненный генералу от паники!

— Нет, господин рейхсмаршал, это лишь вопрос. При суточной норме снабжения, скажем, в количестве одного килограмма двухсот двадцати пяти граммов продовольствия на человека, по десяти снарядов на орудие каждый день надо доставлять в окруженную армию от тысячи до тысячи двухсот тонн грузов. Фюрер, этот расчет сделан фельдмаршалом фон Манштейном...

— Мы будем перебрасывать каждый день тысячу тонн, Адольф!

— Это невозможно, мой фюрер. В течение всей операции войскам Паулюса в среднем каждые сутки доставляют девяносто пять тонн разных грузов. Это в двенадцать раз меньше того, что требует обстановка в котле. Господин рейхсмаршал тешит вас, мой фюрер, несбыточными обещаниями.

— Ах так?.. — Поток ругательств и оскорблений. Хубе стоит молча. — Адольф, я сам поведу первый самолет с грузом для армии генерала, которого давно бы надо расстрелять! Этот кабинетный стратег... Этот пожимающий плечами!.. — Рейхсмаршал задохнулся от злости.

— И тем не менее позвольте не поверить, что вы можете перебрасывать такое количество грузов, господин рейхсмаршал!

— Я и Герман — одно вот уже двадцать лет. Довольно! Возвращайтесь в армию и скажите ее командующему, что я запрещаю разговоры о капитуляции! — Резкий взмах рукой вверх.

— Хайль Гитлер! — Хубе уходит.

— ...Адам, сколько тонн грузов доставлено сегодня рейхсмаршалом? — очнувшись, обратился генерал-полковник к адъютанту.

— Сегодня была нелетная погода, господин командующий.

— Вчера?

— Ничего.

— Позавчера?

— Ничего.

— Завтра?

— Кто знает.

Молчание.

— Хайн!

— Слушаю вас, господин командующий. — Хайн пулей вылетел из своей клетушки.

— Хайн, будем обедать. Генерал Шмидт пообедает со мной.

— Я бы предпочел...

— Итак, вы будете обедать со мной, Шмидт. Хайн, убери со стола коньяк. И не разбей бутылку, увалень.

Хайн выскочил в коридор.

Шмидт сказал:

— Я слышал, хм... что вы подарили новогоднего гуся раненым?

— Да. Хайн пережарил его. Гусь попался несколько тощий. Вероятно, он был стар и гусыни давно не имели от него утех. Но под коньяк кусочек гусятины прошел славно. — Генерал-полковник усмехнулся, отчего глаз его дрогнул и веко запрыгало, как сумасшедшее.

— Вы неисправимый идеалист, — сказал Шмидт, пряча досаду. Теперь было ясно, что гуся действительно нет.

— Идеалист?

— Да еще какой! Этим поступком вы лишь восстановили раненых против себя. В госпитале, куда вы отослали гуся, триста раненых, в том числе половина — безнадежных. Гуся — это я точно знаю — можно разделить не более чем на двенадцать частей. Значит, двенадцать раненых будут есть гусятину, а двести восемьдесят восемь — проклинать вас.

— Вы очень сведущи в арифметике, — заметил Адам.

— И в человеческой психологии, замечу.

— Вот как?

— До войны я был знаком с многочисленными учеными, главным образом психологами. Моя жена специалист по этой части. Я вращался в их кругу, и они охотно делились со мной наблюдениями над природой человеческой души. Затем я занялся этим сам, и не без успеха.

По крайней мере, жена отмечала мои необычайные способности к анализу и самоанализу.

— Скажите! — притворно-восхищенно сказал Адам.

— Кроме всего прочего, я знаток живописи, с вашего разрешения, — добавил Шмидт.

— Вот бы вам изобразить сцену в госпитале, когда господин командующий раздавал ордена. Это была бы жестокая, но правдивая картина. Потомство оценило бы ваш труд, — вставил Адам.

— Смею спросить: это было в том самом госпитале, куда вы, господин командующий, отправили гуся?

— Так точно. Так точно, Шмидт, там.

— Насколько я знаю, вы тоже занимаетесь живописью, господин командующий?

— О, просто балуюсь.

— И вам ли не взяться за изображение такой картины: двенадцать раненых со смаком делят ваше угощение, а двести восемьдесят восемь — смотрят, как те обжираются гусятиной.

— Да, это была бы первоклассная картина, — согласился генерал-полковник.

— Жестокая и правдивая, не так ли?

— Но я плохой знаток человеческой психологии, Шмидт, и у меня получилось бы нечто отвратительное. Натурализм — кажется, так называется это течение в искусстве? Впрочем, вам ли не знать.

Шмидту нечего было сказать, но и придраться было не к чему. К тому же явился Хайн с подносом.

Генерал-полковник встал с койки, устало потянулся.

— Что у вас сегодня на обед, Хайн? — спросил Шмидт.

— Первоклассные блюда, господин генерал-лейтенант! — Хайн расстилал на письменном столе скатерть и ставил приборы, походные приборы, которые он таскал по длинным путям войны сначала с неудачником Рейхенау, теперь с этим незадачливым генералом.

— Стало быть, обед будет из тех продуктов, которые нам прислал господин рейхсмаршал, мальчик? — заметил Адам.

Хайн расхохотался. Он не вращался среди психологов, не умел — увы! — скрывать свои чувства, анализ и самоанализ тоже были чужды ему. Он просто мечтал о вечернем пиршестве.

— Что ты смеешься, идиот? — накинулся на него Шмидт.

— Почему бы ему и не посмеяться, Шмидт? Он моложе нас больше чем наполовину. Вероятно, и вы в его возрасте часто смеялись беспричинно.

— Он смеялся над рейхсмаршалом! — побагровев, выкрикнул Шмидт. — Он издевается над ним!

— Побойтесь бога, Шмидт! — Лицо генерал-полковника хранило полную невозмутимость. — Разве я допустил бы издевательство над великим человеком в моем присутствии? Хайн просто неловкий малый и с придурью. В следующий раз он остережется смеяться не ко времени.

— Так точно! — весело ответил Хайн. — Прошу к столу.

Сели.

Трижды звякнуло горлышко бутылки о края рюмок.

— Хайль Гитлер! — раздался звучный, не по летам молодой голос Шмидта.

— Хайль Гитлер! — вяло сказал генерал-полковник.

— Хайль Гитлер, — пробормотал Адам.

Выпили.

Хайн сделал губами звук, будто выпил и он.

Адам рассмеялся и налил рюмку.

— Выпей, Хайн. За что ты будешь пить?

— За гуся! — ответил Хайн.

— Он уплыл в животы раненых, — шутливо заметил Шмидт.

— Гусей еще много на свете, господин генерал-лейтенант. Есть гусь, который важно похаживает на воле. Но я доберусь и до него. И попорчу ему настроение, будьте уверены.

Генерал-полковник не мог понять двусмысленных слов ординарца, но Шмидт очень хорошо понял их. Однако он предпочел пропустить угрозу мимо ушей, прилежно занялся едой, и это несколько улучшило его настроение.

— Закуска к новогоднему обеду командующего армией могла бы быть несколько обильнее, — процедил Шмидт.

— Что вы, Шмидт! Королевская закуска, — рассеянно проговорил генерал-полковник. Он не замечал, что ест. Его знобило, хотелось лечь. Он выпил еще рюмку

коньяку и отправил в рот кусочек мяса, поданного в качестве закуски перед последующими блюдами.

Шмидт обнюхал мясо.

— Это что, Хайн? — спросил он.

— Конина, господин генерал-лейтенант. Бывшая румынская кавалерия, с вашего разрешения! — Хайн хихикнул.

Командующий строго взглянул на него.

— Неужели вы едите эту мерзость? — разнервничался Шмидт.

— Эту мерзость ест вся армия, господин генерал-лейтенант. Если я не ошибаюсь, ее тоже осталось очень мало. К сожалению, мы не можем угостить вас парижскими трюфелями, голландской телятиной, швейцарским сыром, устрицами, омарами и анчоусами.

Хайн ухмыльнулся втихомолку на эти слова Адама.

— Однако в свое время вы вдоволь полакомились всем этим. Ваш великолепный марш по Франции доставил вам много удовольствий, не так ли? — Глаза Шмидта заразительно весело блеснули.

8. ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОГУЛКАХ ВО ФРАНЦИИ

— Да, во Франции было совсем иначе, Шмидт, совсем, совсем иначе! — как бы про себя проговорил генерал-полковник и замолчал, вспомнив майскую ночь сорокового года, когда взвыли двигатели бомбардировщиков, истребителей, танков и гигантская машина ожила, зашевелилась, ринулась вперед и опрокинулась на города и деревни Франции.

Топча поля, покрытые зеленью всходов, уничтожая виноградники, взрывая дома, заводы и старинные соборы, предавая огню все, встречающееся на пути, подавляя отдельные очаги сопротивления, сея смерть, расстреливая сверху и с земли неисчислимые толпища беженцев, давя танками бегущих солдат, преданных изменниками-генералами, подлыми политиками и продажным стариком маршалом, германская армия лавиной мчалась через департаменты, форсировала реки, без боя занимала крепости, грабила и обжиралась, упоенная победой, доставшейся столь легко.

И он, генерал-полковник, был во Франции, видел ее падение, кресты на обочинах шоссе над могилами мирных людей, слушал плач детей, потерявших родителей, рыдания женщин, вопли помешавшихся с горя мужчин, солдат, подавленных бесчестием, выпавшим на их долю, оборванных, голодных, покинутых командирами и бредущих невесть куда.

Паулюс равнодушно наблюдал страдания людей, ни за что ни про что подвергавшихся разбойничьему нападению под прикрытием ночи. Он так же равнодушно слушал стоны раненых, валявшихся в кюветах, душераздирающие вопли женщин, на глазах которых умирали их дети, убитые шальной пулей или осколком бомбы.

Конечно, эта картина не доставляла ему эстетического наслаждения, но и не мешала безмятежно отдыхать в очередном старинном замке, а после ужина и изрядной выпивки крепко спать под старинным балдахином на старинной постели какого-нибудь барона.

Кровь, слезы и пепелища казались ему такими естественными — ведь это же война, черт побери!

Генерал-полковник не давал себе труда подумать о том, что и он соучастник разбойничьего похода и на него падут кровь и слезы истребляемых людей. Он ведь подчиняется приказу!..

Жестокость? Но бог мой, кто же воюет в белых перчатках? Ведь тогда не склонила бы свои знамена Франция и не лег к стопам победителя Париж...

Да, там все было иначе!

В те дни генерал-полковник просто был вне себя от недоумения, читая сообщения разведки о том, что делалось в высших правительственных кругах Франции. Пять-шесть первых дней стремительного натиска вермахта еще не означали трагического исхода кампании. Утверждалось, что у правительства были все возможности изменить обстановку и соотношение сил: ресурсы страны неограничены, резервы на подходе, оружия вполне достаточно, чтобы противопоставить его военной громаде фюрера.

Но как раз в те самые дни чудовищная паника охватила верхушку Франции. «Мы проиграли битву! — вопили продажные политики. — Дорога на Париж открыта!» Им вторил сам главнокомандующий генерал Гамелен. Он больше не отвечал за безопасность столицы Франции.

Пораженчество, как известно, немедленно оборачивается изменой. И она не замедлила быть. Началась лихорадочная перетасовка в правительстве. К великой радости фюрера, заместителем премьер-министра был назначен маршал Петен — фашисты уже давно прочили его в диктаторы. Еще будучи послом Франции в Испании, Петен восторгался фашистской системой и бредил успехами Гитлера. Лаваль — этот предатель из предателей, Иуда из Иуд — только и мечтал о союзе и дружбе Франции с фашистской Германией. Не отставал от них генерал Вейган, срочно назначенный главнокомандующим вместо Гамелена. Этот никогда не скрывал своих пылких чувств к фюреру и ненависти к Советам. Еще не приступив к обязанностям главнокомандующего, Вейган сказал, что он будет не прочь «согласиться на разумное перемирие».

Французские милитаристы, страшившиеся народного восстания, готовы были по сходной цене продаться Гитлеру, лишь бы подавить возмущение народа.

Сговор фашистского «первосвященника» Гитлера и иуд французских близился к завершению. Через сорок четыре дня после начала операции Петен стал главой изменнического правительства Франции. Двадцать второго июня Гитлер поставил на колени Францию. Падали знамена, овеянные славой отгремевших битв, без боя сдался Париж; воды Сены не возмутились, видя еще одно нашествие гуннов.

Франция — колыбель революции, Франция Дантона и Вольтера, Марата и Гюго, Робеспьера и Бонапарта, Дидро и Жореса — пала так низко!.. Но дети Конвента восстали. Прозвучали вновь звуки «Марсельезы». Тысячи людей, вооруженных мужеством и любовью к родине великих идей, тайно и явно сражались с коричневой ордой. Они верили тогда, что милитаристский рейх будет уничтожен, что не останется реваншистов, что никогда Франция не позволит солдатам рейха топтать своими сапогами ее прекрасные поля...

...Никогда ли?

Да, это случилось ровно за год до вторжения фашистских громил на русскую землю... И думалось тогда фюреру и тем, кто разрабатывал план порабощения России, что и здесь найдутся свои Петены, Лавали и

Вейганы, что не пройдет месяца, как «колосс на глиняных ногах» развалится.

Разумеется, в те времена сногсшибательных побед, которые и радовали и страшили своей неожиданностью фюреров рейха, генерал-полковник не мог думать, что в России все будет иначе, да, все иначе, все решительно!

— Да, да, Шмидт, — тоном глубокого сожаления сказал генерал-полковник, — в Польше, Бельгии и во Франции все было далеко не так. — Он вздохнул.

— Не знаю, как вы, а я тогда командовал дивизией, и мы лихо попировали! — ответил Шмидт, сладострастно потирая руки. — Трюфели, устрицы, шампанское! Вот роскошь!.. Да, это была славная кампания.

— Я никогда не пробовал трюфелей и устриц. Мне говорили, что это похоже на лягушек, — вмешался в разговор Хайн. — Зато и у нас сегодня такой обед — пальчики оближешь! На первое — первоклассный картофельный суп, господин генерал-лейтенант. Правда, картошка подмерзла, но и ее едят там, в окопах и дотах.

Пройдоха Хайн приготовил отличный обильный обед — у него еще было кое-что в запасе для шефа. Однако, зная наперед, что генерал-полковнику неможется и вряд ли он будет есть и что трапезу с ним разделит начальник штаба, Хайн решил подать вместо приготовленного обеда тот, который едят сегодня и будут есть завтра офицеры, охранявшие штаб и особу командующего. Донимать Шмидта, донимать чем попало, отныне стало главной задачей Хайна. И это ничем не грозило ему. Ни для кого не было секретом, что штабные не жалуют Шмидта, называют его за глаза Иудой, генерал-Вралем, а многие уверяют, что Шмидт злой гений командующего и всей армии. Таким образом, Хайн ничем не рисковал, поставив на стол, чтобы поиздеваться над Шмидтом, похлебку из гнилой картошки.

Генерал-полковник, лоб которого покрылся испариной, сказал, что не хочет есть, и прилег на койку. Хайн заботливо укрыл его шинелью, потом принес из клетушки плед, набросил его сверху и подоткнул края с боков.

Шмидт с мрачным видом хлебал отвратительный суп, за которым последовал кусок жареной конины с раскисшим соленым огурцом. Он проклинал себя за то, что согласился обедать с командующим, но, соблюдая этикет, молчал. Запив обед эрзац-кофе, Шмидт сказал:

— Не найдется ли у вас лишней сигары, господин генерал-полковник? У меня все вышли. — Из нагрудного кармана кителя торчала сигара, положенная туда перед тем, как пойти к командующему. Шмидт забыл о ней.

— Адам, передайте генералу сигару. Они в верхнем ящике стола.

Адам вытащил две сигары и, передавая их Шмидту, заметил вполголоса:

— Одну из них вы можете присоединить к той, которая у вас в кармане, господин генерал-лейтенант.

Пришла очередь Шмидту покраснеть до корней волос.

Хайн, подумав про себя: «Получил, сукин сын?» — принялся убирать со стола.

Сигара была настоящая, крепкая и ароматная. Она успокоила Шмидта. Он курил в полном молчании. Командующий дремал.

9. БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ

Когда Хайн ушел, Шмидт сказал:

— Я сегодня сидел в одиночестве и размышлял... Вы баловень судьбы, господин генерал-полковник. Черт побери, на вашу высокую долю выпала разработка плана грандиозного похода от границ рейха до великой русской реки. И вам же выпало счастье осуществить этот поход.

Генерал-полковник заворочался на койке. Перед ним возник летний, залитый солнцем день в Берлине, громадный кабинет, который он занимал в военном министерстве, паркет, покрытый шведским лаком и ослепительно блестевший — широким полотном лежал на нем солнечный луч.

Утром его, обер-квартирмейстера (или начальника оперативного управления, что одно и то же), вызвал начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер и приказал проанализировать план вторжения в Россию, названный «Барбаросса». Гальдер сказал, что этот план кое в чем не удовлетворяет фюрера. Речь шла о том, чтобы молниеносным ударом ста — ста двадцати дивизий захватить Москву, Ленинград, Украину и, двигаясь сплошным фронтом, выйти на линию Астрахань — Архангельск.

Генерал-полковник, разумеется, знал, что разговоры о «Барбароссе» велись в генеральном штабе еще с весны сорокового года. Он слышал о плане блиц-разгрома вооруженных сил России и ликвидации ее как государства. Фюрер отдавал советский Север Финляндии, устанавливал протектораты в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии, решил загнать русских за Урал, а на путях войны расстреливать большевистских комиссаров и коммунистическую интеллигенцию, уничтожить как можно больше славян. Да, все это было ему известно, но он никогда не думал, что это так серьезно.

Чтобы удостовериться в том, он спросил, как бы между прочим, Гальдера:

— Разве пакт о ненападении утратил свою силу?

— Нет, он еще действует, но фюрер заявил, что соглашения следует соблюдать лишь до тех пор, пока они служат определенной цели. Дело в том, коллега, что фюрер освобождает наш разум от грязных самоотравлений химерами, именуемыми совестью и нравственностью. Это, во-первых, коллега. Во-вторых, если политик, я говорю о фюрере, не находит больше возможности устранить опасные противоречия с Россией дипломатическими средствами, тогда от него нельзя отнять право решить задачу защиты собственной страны против враждебного вторжения с помощью нападения.

— Позвольте, разве Россия намерена напасть на нас?

— Да, мы знаем это из достоверных источников.

— Можно познакомиться с ними?

Молчание.

— Но буквально на днях, коллега, вы сами говорили о невероятности развязывания инициативы со стороны русских и что не стоит предпринимать слишком поспешные меры. Более того, вы заявили, что это совершенно невероятно. Я говорю о нападении России на рейх.

— Фюрер считается только со своим мнением, коллега.

— Разве фюрер забыл слова генерала Секта, предупреждавшего, что если Германия начнет войну против России, то она будет вести безнадежную войну? Разве фюрер не знает мнения Секта, что Россия не может погибнуть?

Гальдер усмехнулся.

— Ну, вы известный приверженец идей Ганса Секта. Вы, но не фюрер.

— Тем не менее я бы взял смелость напомнить ему о предупреждении Секта, пока не поздно.

— Увы, поздно. Итак, займитесь планом.

И генерал-полковник занялся им. Уже в октябре сорокового года он доложил об основном замысле операции, решение которой возлагалось на группы армий «Север», «Центр» и «Юг». Он участвовал в бесконечных совещаниях у Гитлера и в генеральном штабе. Он проводил военные игры и оставался доволен ими. И все же его не покидала мысль предупредить фюрера и снять с себя хоть часть ответственности за то, что произойдет, повернись дело худо. Но подходящего случая не находил. Впрочем, поглощенный разработкой стратегии и тактики «плана Барбаросса», окруженный людьми, свято верящими в успех будущей кампании, он отмахивался от гложущей его мысли... Да и напористость шефа не оставляла времени для раздумий.

Генерал Гальдер, между прочим, страдал общечеловеческой слабостью: он вел дневник, ни мало не помышляя, что в свое время его записи могут стать достоянием гласности. Тщетно искать в них описание пейзажей, характеров, проникновения в человеческую душу, каких-либо лирических или философских отступлений, чем полны дневники простых и не совсем простых людей. Гальдер был генералом. Немецким генералом, добавим. Пунктуальным. Педантичным. Предельно лаконичным. Кроме того, дневник был служебный и доступный самым высшим чинам генерального штаба сухопутных войск рейха.

Генерал-полковник, один из руководящих работников штаба, просматривал дневник шефа; он заключал в себе порой директиву, порой записи того, что сделано и что надлежит сделать. Так сказать, памятные наброски не слишком распространительного характера. Например, тридцатого июня 1940 года Гальдер отметил, что, по его мнению, для устройства мира на земле решительно никаких реальных предпосылок нет. Затем шла зловещая фраза «Взоры всех устремлены на Восток». Но Восток, то есть Россия, находился не на какой-нибудь другой планете и не вне общеполитического положения. В обще-

политическом положении фюрера очень беспокоила Англия. Третьего июля шеф штаба преподает своим подчиненным урок, утверждая, что «в настоящее время на первом плане английская проблема, которая будет рассматриваться отдельно, и восточная проблема. К последней следует подходить с главной точки зрения: как нанести России военный удар, чтобы заставить ее признать господствующую роль Германии в Европе».

Несколькими днями раньше, задумавшись над тем, как повернее нанести этот удар, шеф генштаба, заранее облизываясь, записал, что наибольшие возможности сулит наступление на Москву, после чего — обход с севера русской группировки, находящейся на Украине и на Черноморском побережье. Неделю спустя шеф генштаба поделился сладкими мечтами с фюрером в его Бергофской резиденции. Фюреру спать не давала проклятая Англия! Он поучал Гальдера и всех, кто в тот день был у него: «Если Россия будет разбита, у Англии исчезнет последняя надежда. Вывод — Россия должна быть ликвидирована. Начало операции — весна сорок первого года. Срок — пять месяцев. Цель — уничтожение жизненной силы России».

Генерал Гальдер, воодушевленный вещими словами фашистского верховного жреца и прорицателя, утроил свои усилия. Первого сентября он вызвал Хойзингера — да, да, того самого! — и еще кое-кого. Они рассматривали проблему группировки сил на Востоке, в связи с этим — передислокацию войск на Западе... Прошло два месяца, и Гальдер лаконично отметил в дневнике: «Паулюс доложил об основном замысле операции». Это было двадцать девятого октября, а через пять дней Гитлер вызвал Гальдера, Кейтеля, Иодля. Очевидно, он был недоволен темпами подготовки вторжения. Он снова вдалбливал в головы генералов, что Россия остается главной проблемой Европы, что должно быть сделано все, дабы быть готовым к расчету с ней.

И Гальдер начал подстегивать подчиненных. В начале декабря проигрывались составленные Паулюсом этапы военной игры, а двадцать третьего января сорок первого года Гальдер докладывал фюреру: «Разработка указаний по стратегическому развертыванию «Барбароссы» — закончена». Фюрер приказал исправить кое-

какие детали. В середине мая он снова вызывал Гальдера и Хойзингера и поставил кое-какие точки над «и». Не стесняясь, Гитлер последними словами обложил своих сателлитов. «От финских войск можно ожидать только атаки на Ханко... На Румынию рассчитывать вообще нечего — румынские соединения не имеют наступательной силы. Венгрия тоже ненадежна, а словаки тем более — ведь они славяне. Использовать их в качестве оккупационных частей, это еще куда ни шло». Вывод по известной поговорке: «Я да ты, да мы с тобой»... Однако, кроме немецких армий («С уверенностью мы можем рассчитывать только на них» — это сказал фюрер), кроме танков, авиации и прочего оружия, он приказал расширить производство химических боеприпасов. Двадцать пятого марта Гальдер всеподданнейше доложил, что к «первому июня мы будем иметь два миллиона химических снарядов для легких полевых гаубиц и пятьсот тысяч для тяжелых».

И вот наконец огромное сборище у фюрера двадцать седьмого марта. «Почти трехчасовая речь «самого», — записывал шеф генштаба в дневнике. — Фюрер воспламенен! Ему море по колено! Он только и говорит о том, что существование второй великой державы на Балтийском море нетерпимо. Россию надо ликвидировать. Тем более, мол, теперь на нас работает вся Европа! Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше. Операция только тогда будет иметь успех, если мы одним ударом разгромим это государство. Тогда господство Германии в Европе и на Балканах обеспечено. Создание военной русской державы по ту сторону Урала не может стать в повестку дня, хотя бы нам пришлось для того воевать сто лет. Фюрер решил также, что он не позволит носить оружие всем этим славянам — русским, полякам, чехам, болгарам, а также французам, казахам и прочим дикарям. Оружие останется только в руках немцев. Только они имеют право владеть им, и это оружие во всей силе мы употребим в России. Да, там война должна быть иной, чем на Западе. Жестокость в России — залог успеха. Потом мы подумаем, как кастрировать эту нацию, сделать так, чтобы она поменьше рожала детей. Пусть русские умеют считать до пятисот — читать им не к чему. Интеллигенция? Она не нужна. Через двадцать лет русские забудут, что они русские...

В Великороссии необходимо применение жесточайшего насилия. После ликвидации активистов русское государство распадется».

Генерал-полковник, слушая истерические выкрики фюрера, усмехался. Он не принимал всерьез этот бред. Мало ли что болтают политики, мало ли что поют распропагандированные ими олухи. Например, песня, которую генерал-полковник слышал как-то, гуляя по Берлину:

Если мир будет лежать в развалинах,
К черту, нам на это наплевать!
Мы все равно должны маршировать дальше,
Потому что сегодня нам принадлежит Германия,
Завтра — весь мир!

Однако, усмехаясь про себя, генерал-полковник усердно трудился над «Барбароссой». Созывается совещание начальников штабов групп армий и армий. Генерал-полковник докладывает о проблемах Восточной операции. Все готово. Ждут решения фюрера: когда?

Наконец фюрер назначает день: двадцать второе июня сорок первого года. Он снова истерически вопит о коммунистической опасности и борьбе двух идеологий. Он утверждает, что коммунист никогда не станет товарищем любого немца. Он предупреждал, что речь идет о борьбе за полное уничтожение. Командиры частей должны знать эту главную цель войны, не подвергаться яду деморализации, идти на жертвы и преодолевать жалкие колебания совести.

Генерал-полковник слушает и качает головой. Втихомолку, конечно. «Двадцатого июня, — записывает Гальдер в дневнике, — получено обращение фюрера к войскам перед началом операции. Ничего особенного, — меланхолически отмечает шеф генштаба, — одна политика». На следующий день Хойзингер докладывает шефу о готовности к нападению на Россию ста сорока дивизий. В тот же день объявляется условный пароль начала операции — «Дортмунд».

И война началась. Объявление войны? Вздор, отжившее понятие. Идут недели за неделями, все идет вроде бы как по маслу...

Но... красиво на бумаге, да забыли про овраги.

«Колосс на глиняных ногах», каким представлял Россию фюрер, его генералы и советники, не падает! Не падает, подумать только! И что еще поразительнее, что не было предусмотрено в планах: воюет не только армия, но и весь народ! Эти ужасные партизаны, сколько от них хлопот! Русские мужики сжигают посевы. Русские рабочие увозят прочь заводы и уезжают на Восток сами, а что остается — разрушают. Везде мины, западни.

«Что-то не так, — размышляет генерал-полковник, следя за операциями на Востоке. — Что-то, видно, упущено, не учтено, не до конца выявлены возможности этого народа, недооценены его физическая и нравственная мощь и громадная сила идеологических уз...»

Да, не все идет так стремительно, как бы хотелось генералам и фюреру. Русские бешено сопротивляются. Хотя война застала их врасплох, они не сдаются, даже тогда, когда положение безнадежное. И атакуют. Свирепо атакуют... Ломают все тактические и стратегические планы... Мешают карты... Приходится неделями и месяцами топтаться на месте. Эти русские, оказалось, вовсе не мечтали повторить судьбу Франции. Оказалось, что их ресурсы неисчерпаемы и, оправившись от невзгод первых тяжких месяцев, они пустили в ход заводы и фабрики и эти самые ресурсы миллионами смертельных тонн начали поступать на фронт. Оказалось, что и резервы шли маршем из дальних и ближних краев. Оказалось, что и оружия у русских столько, что вся Европа, ходившая в те времена под фашистским сапогом, не смогла противопоставить мощи русских свою мощь...

В сентябре и октябре еще мерещилась победа. Уже видели передовые части вермахта шпиль Адмиралтейства и колокольню Ивана Великого. Фюрер перенес свою ставку поближе к победоносному фронту. Ему докладывали: видим Москву. Но почему же до сих пор нет петенов? Почему Москва не шлет мирную делегацию изменников? Фюрер в бешенстве — как, видеть Кремль и не взять его?! Ведь он мечтал не где-нибудь, а в Кремле, в палатах которого Бонапарт тщетно ждал мирную делегацию русского императора, именно в одном из древних дворцов, подписать с русскими петенами и квислингами акт капитуляции, поставить Россию на колени, потом выставить «правительство новой России» куда-ни-

будь за Урал и начать хозяйничать в России, как хозяйничал почти во всей Европе.

Фельдмаршал Браухич получает пинок в зад. Уже не грохочут барабаны и литавры и не слышится речей фюрера, где истерические вопли перемежаются смехом, похожим на собачий лай. Фюрер невнятно бормочет, что он, видите ли, и не придавал особенного значения тому, возьмет он Москву или нет.

Генерал-полковник размышляет: неужели Московская битва — новое Бородино? Неужто, подобно Бонапарту, бежать сломя голову по старой можайской дороге? Генерал-полковник снова вспоминает зловещее предсказание Ганса Секта. Он идет к фельдмаршалу Кейтелю, сменившему Браухича. Заводит с ним осторожный разговор. Не мешало бы, мол, подумать, что делать дальше. Что, мол, Сект-то вроде бы был прав.

Фельдмаршал Кейтель резко осаживает его. Генерал-полковник пожимает плечами. Пожимает плечами — вот и все. Потом возвращается в кабинет и занимается своими делами.

Увы, пожатие плечами стоило ему дорого. Это был серьезный промах.

Фельдмаршал Кейтель, будучи самым усердным холуем фюрера, не преминул сообщить ему о возмутительном поступке генерал-полковника. Подумать только, пожал плечами!

— Не может быть, — сказал фюрер. — Вы сами видели?

— Так точно, мой фюрер.

— Значит, он из этих... сомневающихся?

— Он очень исполнительный и педантичный... Но подозрительно одно: почему он не вступает в партию?

— Хо-хо! Слишком много у нас этих пожимающих плечами кстати и некстати, вы не находите, фельдмаршал?

— Так точно, мой фюрер.

— Хорошо, я подумаю, — фюрер тяжело вздохнул. — Бог мой, я не сплю ночей, я работаю, как сто волов, во имя славы Германии, я страдаю бессонницей, раздумываю о величии рейха и мерах, направленных к еще большему возвеличению нации, а они пожимают плечами. Неслыханно!

— Непростительная дерзость, смею добавить, мой фюрер.

И вот генерал-полковник уже не обер-квартирмейстер, выполнявший особые задания, вот уже перестали говорить о его назначении заместителем начальника генерального штаба.

На этом не окончилось. Фюрер ничего не забывал и ничего не прощал. Генерал-полковника назначили командующим шестой армией, той самой армией, которую некогда вел по Польше, Бельгии и Франции Вальтер фон Рейхенау. Теперь ей надлежало выйти на линию Астрахань — Архангельск. Командовать армией? Но ведь он теоретик, военный ученый, стратег на бумаге, в лучшем случае могущий сражаться на столе, покрытом картами, и после игр делать соответствующие выводы. Да, он участвовал в операциях против Бельгии, Франции и Польши, но не командовал. Он был и там кабинетным стратегом — начальником штаба разных армий!..

Фюрер номер один, то есть сам Гитлер, не стал слушать доводов сомневающегося и умничающего генерала. Фюрер номер два — им был Геринг — сказал, что армия с восторгом ждет того, кто поведет ее к великой русской реке и добудет миллионы тонн русского хлеба, масла, мяса, руды, резины, бензина.

Гиммлер, рейхсфюрер СС, глава гестапо и прочее и прочее, (фюрер номер три) добавил:

— Не забывайте уничтожать коммунистов, комиссаров, евреев и вообще всех, кто попадет вам в руки. Евреи и славяне должны исчезнуть.

Фюрер по вербовке рабов сказал:

— И пригоните в Германию два-три миллиона русских. Мы найдем им здесь работу.

Хромоногий рейхсминистр пропаганды одобрительно похлопал генерал-полковника по плечу, с приятной улыбкой заметил:

— Вы будете воевать не за трон фюреру, а за обильные завтраки, обеды и ужины для каждого немца. Восхищайтесь счастьем, выпавшим на вашу долю.

Главный фюрер резюмировал:

— Решено! — И шепнул на ухо начальнику штаба верховного главнокомандующего: — Да, да, фельдмаршал Кейтель, подальше всех этих сомневающихся и умничающих. В походе и в битвах им будет не до сом-

нений и умничания. Там действует мой приказ: либо воевать до последнего вздоха, либо расстрел, виселица, концлагерь.

— Мой фюрер, — заикаясь от волнения, ответил фельдмаршал Кейтель, — я связал свою жизнь с вашей до конца без рассуждений и умничания. Не беспокойтесь. Я беру за глотку врагов, мой фюрер, хотя бы их были миллионы. Жалость — слюнтяйство. Каждый сомневающийся — ваш враг. Значит, он и мой враг. Если этот, — он мотнул головой в сторону генерал-полковника, — позволит себе умничать, я уничтожу его, его жену, детей и внуков. Человеческая жизнь? Вздор! Для меня она больше, чем ничто. Он будет воевать. Он будет хорошо воевать, как воюет теперь известный вам генерал Шпейдель. Он тоже, я слышал, умничал, но быстренько образумился и ныне во всем следует вашей великой тени.

Генерал-полковник пошел воевать. Да, он завоюет для фатерланда огромные просторы, отгрузит тысячи тонн хлеба, мяса, масла, шерсти. Он заставит этих русских попотеть на полях во имя того, чтобы каждый немец ел жирные завтраки, обеды и ужины. Да, он пошлет два-три миллиона славян в Германию, чтобы они сменили тех, кто нужен на фронте.

Нет, он не умничал и ни в чем не сомневался. Он шел напролом, не прилагая усилий к тому, чтобы замечать страдания и несчастья людей, подвергшихся разбойничьему набегу. Его не трогали кровь и слезы, горящие села и разрушенные города, оскверненные храмы и трупы, трупы, трупы без конца, трупы не только солдат, но и тех, кто не мог воевать, — матерей и детей, дряхлых старух и преклонных старцев...

Жестокость? Смешно воевать в белых перчатках с дикими русскими, с их ужасными, бородатыми партизанами, воскресившими мрачные страницы из истории нашествия Бонапарта.

Отлично выспавшись и обильно позавтракав, генерал-полковник писал или отдавал приказы, отличавшиеся предельной ясностью и лаконизмом, — загнать клин глубже, еще глубже, в самую сердцевину России, сломить упорство комиссаров, солдат и идти вперед. Только вперед к великой реке!

Скорее, марш, марш!

Его армия рвалась к Волге!

Чудесное лето, прелестный воздух, незабываемые степные пространства, красивые, полные зелени города, медлительные полноводные реки, победные сводки, победоносные речи фюрера, безудержное ликование там, в рейхе, ордена и отличия, раздаваемые щедрой рукой.

Ах, как все это было прекрасно!

Вот уже развевается германское знамя на Кавказском хребте, и, казалось, близок час падения Баку. Крым у ног фюрера, и германский солдат впервые за всю русскую историю вышел на берег великой русской реки, куда генерал-полковник так стремился. Однажды в бинокль он увидел огромный, растянувшийся на много километров город, а за ним — ровную, блиставшую на солнце гладь реки.

Над городом пчелиным роем носились бомбардировщики и истребители. Над городом взвивались языки пламени... Там свирепствовала война. А река мирно катила свои волны к морю, как вчера, как сто лет и тысячелетия назад, равнодушная к тому, что происходило на ее берегах.

И вот до этой реки, повинуясь приказу фюрера, дошел и он, генерал-полковник фон Паулюс. Горделивая улыбка появлялась на узких, бескровных губах всякий раз, когда ему думалось, что именно он первым из германских полководцев всадил клин в сердце России и стал ногой там, где еще никогда доселе не стоял немецкий сапог.

Шли дни за днями. Вот разрушен и сожжен город, вот снова кровью окрашены воды Волги, вот-вот, казалось, падут последние доты и укрепления русских, и, если не сегодня, так завтра, они оставят последние рубежи и уйдут за реку. Тогда флаг со свастикой взовьется над этой волжской скалой. Но город взят и не взят, русские разбиты и не разбиты. Волга не форсирована и равнодушно катит свои воды в далекое море.

Осенние туманы поплыли над великой равниной, потом замелькали в воздухе первые хлопья снега. Лед сковал могучую реку, а русские — стоят. Стоят! И нет, кажется, такой силы, которая могла бы сломить их чудовищное упорство. Но они не только стоят, они кидаются в контратаки, они то там, то здесь прорывают фронт, забирают пленных, бомбят, громят из орудий,

поливают огнем минометов и этих страшных своих «катюш».

Генерал-полковник опять вспоминает Секта. Слишком поздно! Уже ничего не поправить! Его просьбы, его настоятельные требования, его взывание к благоразумию остаются гласом, вопиющим в пустыне...

И вдруг грандиозный, ни с чем не сравнимый ноябрьский обвал! Генерал-полковник знал, что русские готовят наступление. Но его успокаивала мысль, внушенная ему сверху: у русских нет таких сил, чтобы начать крупную наступательную операцию. Он отвергал всякую возможность подобного дерзкого предприятия со стороны русских и не предполагал, что они могут, выражаясь народным языком, так крепко дать ему по зубам. Он и морально не был готов к окружению. Но вот фронт прорван, фронт в панике откатывается назад, на запад... Русские продвигаются так стремительно, таким навалом, что все трещит, ломается; шатается сознание генералов, и шатается сам командующий.

Стало быть, он был прав, допуская возможность глубокой, более широкой и сосредоточенной военной мысли у русских? Но, черт побери, ведь их главные военачальники так молоды и так неопытны. Где они воевали, у кого учились? Инциденты с Японией? Финляндская война? Но ведь это не так серьезно по сравнению с битвами, которые вела германская армия!

Откуда они взяли талантливых полководцев? Ведь почти все поседевшие в сражениях гражданской войны военачальники уничтожены. И откуда такая поразительная хватка у молодых офицеров? Какими же, черт побери, должны быть молодые полководцы, сумевшие так ловко обставить военных волков рейха, окружить в излучине Дона тридцать девять дивизий или то, что от них осталось, накинуть на них мертвую петлю и все туже затягивать ее?

Но это практики, так сказать. А их военные теоретики? Кто бы мог подумать, что они способны втихомолку разработать и привести в исполнение блистательный план окружения? И это тогда, когда казалось, что дело русских у Волги безнадежно проиграно?!

Да, было от чего болеть голове генерал-полковника. Прошли те времена, когда он лишь спорил сам с собой и тешился надеждой, что, может быть, и ошибается.

Теперь это уже не ошибка. Очевидность встает перед ним во весь рост. Железный клин, загнанный так глубоко в сердце России, сломан у своего основания — так ломается гнилой зуб. Шестая армия — острие клина, подобно зверю, заперта в клетку. Теперь уж не о том думает генерал-полковник, чтобы заставить русских уйти за Волгу, а о том, как выбраться из клетки самому.

«Так о чем же думает фюрер?» — часто спрашивает себя генерал-полковник.

Фюрер беснуется, изрыгает проклятия и приказы одновременно. Он фантазирует, планирует одну операцию за другой... Русские безжалостно срывают их, фюрер срывает ярость на подчиненных, на генералах. Кое-кто из них начинает мысленно обрушивать свою ярость на фюрера.

Так возникает лживая легенда о виновности только одного Гитлера и невиновности тех, кто выполнял его приказы.

Город на Волге казался плодом, готовым упасть к ногам победителей. Нет, он не упал. Вместо блистательной победы — жестокое поражение. Кто виноват? Генерал-полковник тоже начинает искать виновника. Кто он? На кого можно свалить вину за катастрофу, тем обелив перед историей и народом самого себя и себе подобных? Генерал-полковник жаловался Адаму: не был ли он слишком наивным, доверившись недальнозоркому фюреру? Не обманулся ли он в нем и надо ли было воспитывать в себе и других слепое чувство поклонения? И кому? Тому, кто ввергает Германию в пучину несчастий, тому, кто ответствен за все решительно, в том числе и за трагедию армии, зашедшей по воле фюрера так далеко?

Да, теперь генерал-полковник валил все на фюрера и его советников. В уединенных беседах с Адамом он называл приближенных фюрера «камарильей», забыв, что сам очень долго был приближенным... Так он очищал себя от жестоких упреков, которые (останься он жив) ему бросят в лицо.

Адам соглашался с ним. Да, увы, фюрер не оправдал надежд. Да, увы, он был и остался ефрейтором в войне и политике. Он привел нацию и армию к поражению. И ради чего? Ради престижа. Хайн, слушавший эти дырявые, как решето, рассуждения, тоже был согласен с

шефом. Ах, фюрер, фюрер, какой ты нехороший! Однажды он даже поддакнул генерал-полковнику, но его сурово одернули. И в самом деле! Право размышления и критики втихомолку дано начальству — тем более, что не Хайну, а именно начальству придется отвечать перед судом истории.

Чем меньше будет улик, тем мягче приговор. Разве, например, он, генерал-полковник, посылал Хайна грабить простых русских людей и отнимать у них новогоднего гуся? Конечно, Хайна вызовут на суд, и прокурор-большевик допросит его насчет этого гнусного дела. У Хайна хватит совести признаться, что гуся он украл без ведома генерал-полковника.

Командующий с удовлетворением думал, как он правильно поступил, учинив Хайну разнос за то, что тот обидел мирных русских, украв у них новогоднего гуся. Паулюсу было либо невдомек, либо он не хотел думать о том, что у русских, оставшихся в городе, отобраны все человеческие права, разрушены жилища, расстреляны и замучены в камерах гестапо близкие люди, непокорные рейху, да и просто ни в чем не повинные люди. Ведь есть приказ — уничтожить как можно больше славян...

Углубленный в тяжелые раздумья, Паулюс забыл о своих собеседниках.

Шмидт тихо кашлянул.

— Да, о чем это мы говорили? — спросил командующий, очнувшись.

— О том, что вы баловень судьбы и что счастье сопутствует вам, — ответил Шмидт.

— Счастье? — повторил генерал-полковник. — Оно изменчиво, Шмидт. Особенно военное счастье.

— Вам везло до сих пор, — живо возразил Шмидт. — Вам еще повезет. Мы схватили их за горло нашей железной рукой. Им не вырваться.

Шутит он или издевается?

— Кто и кого держит железной рукой, Шмидт? Не забыли ли вы, что до переднего края полчаса ходьбы?

— Нас выручат. Фюрер обещал.

— Господи, сколько раз я слышал об этом! Сколько раз рейхсмаршал обещал навестить нас, и даже сам фюрер хотел приехать сюда! Что толку? Армия? Ее нет. Есть котел, а в нем — ад. Еще не было случая, чтобы

человек возвращался на землю из рая или из ада, Шмидт.

— У вас сегодня неважное настроение. Вы больны. Я пришлю врача.

— К черту врача! — Генерал-полковник вскочил, быстро подошел к столу, лихорадочным рывком открыл один из ящиков, вынул из него бумагу. — Вы читали это?

Шмидт водрузил очки на длинный нос:

— Что такое?

— Инструкция советского командарма Чуйкова своим войскам. Только человек, которому воистину улыбается военное счастье, только тот, кто уверен в своей силе, мог сочинить такое. Вы слышали о Суворове, Шмидт?.. То, что я прочитал, напомнило мне суворовские приказы. Читайте вслух, черт побери! Это написано так отлично, что я мог бы приказать выучить наставление советского командарма наизусть, но теперь это ни к чему. Итак, читайте.

— «Ворвавшись в здание, — начал Шмидт, — помни: всякое промедление смерти подобно. Тут не зевай, глуши противника, чем попало. Перед тобой стена — взрывай ее толом. Фашист засел в подвале...» — Шмидт поперхнулся, потом снова начал читать: — Гм... «Фашист в подвале — бросай бутылку с горючей смесью, струю из огнемета, они выкурят. Вскочил на лестницу — поднимайся на верхний этаж, брось дымовую гранату, слепи противника. Потом гранату — в комнату, прочесывай огнем автомата и рывком — вперед! Заскочил на следующий этаж — сразу вламывайся в квартиру. Дверь заперта — не беда. Подвешивай гранату к дверной ручке, отбегая, взрывай. Граната вышибет запор и оглушит фашистов. Теперь спускайся в подвал — там еще остались бандиты; в подвале дверь закрыта, гранату или бутылку бросать нельзя. Открывай пожарные и водопроводные краны, спускай воду, вода сама найдет вход и утопит фашистов, как крыс...»

Шмидт положил бумагу на стол, снял очки.

— Н-да! Сильно написано, — сказал Адам.

— Если бы только это осталось на бумаге! Они слепят нас, бьют, топят... Сегодня они отбивают одну комнату, завтра — дом, послезавтра — квартал. Что будем

делать, когда эти ученики Суворова дойдут до квартала, где сидим мы?

Шмидт провел рукой по голове:

— Очевидно, сражаться. А потом...

— Что потом?

— Еще ни один командующий германской армией не сдавался большевикам.

Генерал-полковник остановился перед Шмидтом. Глаз его сильно дергался.

— Я не ослышался? — хрипло проговорил он. — Вы сказали...

— ...что германские генералы не должны сдаваться большевикам.

— На что вы толкаете меня, Шмидт?

— Разделить судьбу армии и каждого солдата, если такова будет воля бога.

— При чем здесь бог? — взорвался генерал-полковник. — При чем здесь бог, спрашиваю я вас?! — загремел его голос. — Неужели ваше кощунство зашло так далеко, что вы возлагаете ответственность за случившееся на творца вселенной?

— Я лишь взываю к вашему долгу и чести. — Шмидт еще никогда не видел командующего таким возбужденным.

— Совесть и честь? Не фюрер ли советовал нам отбросить эти химеры, Шмидт?

— Это было сказано в запальчивости.

Генерал-полковник, тяжело дыша, опустился на койку.

— Хорошо, — сказал он вдруг ослабевшим голосом. — Я знаю, как поступить согласно со своей совестью, долгом и честью. Их дал мне бог, они вложены в меня матерью и отцом, их развивали мои учителя. Я не считаю нравственность химерой. Идите, Шмидт, я хочу поспать. Адам, вызовите ко мне коменданта города и передайте верховному главнокомандующему: мы не нуждаемся в приказах стоять насмерть, и без того мы на краю могилы. Нам нужна еда, медикаменты, одежда, снаряды и бензин.

10. РАЗНЫЕ СУЖДЕНИЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

Хайн, слушавший в своей клетушке разговор командующего, адъютанта и начальника штаба, улучив минуту молчания, выскользнул в коридор.

Эберт покуривал, прислонившись спиной к пианино.

— Отдыхаем, толстячок? — спросил Хайн.

— Генерал Роске не любит, когда курят в его комнатах. Он не выносит табачного дыма.

— Скажи-ка, неженка! — Хайн рассмеялся.

— А сам, между прочим, не выпускает изо рта сигареты, — продолжает Эберт. — Что делать — они начальники, мы подчиненные.

— Мы все подчиненные фюрера, — важно сказал Хайн.

— Да, да, вон и Роске теперь болтает, что, если бы он не всегда подчинялся приказам фюрера и был бы поумнее, не произошло бы того, что случилось.

— Мои тоже в последнее время разглагольствуют на эту тему. Соберутся вдвоем с Адамом и начинают, и начинают. — Хайн присел на корточки, попросил у Эберта покурить. — А уж когда приходит генерал Зейдлиц, тут спорам конца нет!

Эберт отдал Хайну недокуренную сигарету, смачно сплюнул, помолчал, потом сказал:

— Я в детстве был чертовски ленивым парнем. Ох и попадало же мне от отца и матери! А я на чем свет стоит поносил проклятых учителей. Они вечно спрашивали как раз то, что я не зазубрил, или задавали уроки, которые мне было не под силу учить. Я делал им такие пакости, что весь класс, бывало, потешался. Только спустя время я понял, что учителя, конечно, были плохие, но не лучше их был и я. Учился бы как следует, был бы не ефрейтором, а генералом.

— Вполне возможно, — согласился Хайн. — Ты умный. А учителя, ты верно сказал, все подряд дрянь. Знаю по собственному опыту.

— Тоже все сваливал на учителей?

— А как же!

— Скажу откровенно, Хайн, мне до смерти опротивели рассуждения Роске насчет фюрера и рейхсмаршала Геринга. Они, видишь ли, виноваты, что мы проиг-

рываем войну. Хо-хо! Уж если быть до конца честным, мы потому проигрываем войну, что ее выигрывают русские. Я говорил тебе утром: то мы колотили их, теперь они колотят нас.

— Ну, мы — это еще не вся армия, — неуверенно сказал Хайн.

— А сражение под Москвой? Ты что думаешь, мы потому не взяли Москву, что начались дикие морозы, как болтали у нас в штабах? Пошевели мозгами, дурень.

— Я не понимаю, — угрюмо отозвался Хайн.

— Оно и видно, что ты остолоп, — вдруг рассердился Эберт. — Оттого не взяли, что русские оказались сильнее нас.

— И откуда только у них взялась такая сила? — помолчав, спросил Хайн.

— Черт их знает! — Эберт почесал живот. — Роятся, словно пчелы. Народу у них пропасть. — Он зевнул. — Наши бахвалились по радио и в газетах, будто истребили всю русскую армию. Чуть ли не за два миллиона перевалило. Если бы так было, кому же драться? А они дерутся, дерутся и дерутся. И гонят наших. Вот они-то и виноваты в наших дрянных делах.

— Я читал, будто им очень плохо жилось при большевиках, — заметил Хайн. — Непонятно, почему они так стоят за них?

— Тут дело, должно быть, не только в большевиках, Хайн. Видно, они хотят жить, как жили, и не желают жить, как хотели бы мы. Я читал их листовки. Конечно, там полно всякой ерунды, но главное, что там написано, правильно. Мы, мол, воюем за свободу родной земли и до тех пор будем воевать, пока не выгоним ко всем чертям последнего немца. А кому не дорога родная земля, сообрази? Вот мы любим Германию. Почему бы русским не любить Россию?

— Н-да, — выдавил Хайн. — Мастер ты соображать.

— Потому что понял в свое время — учителя ни при чем. Надо и самому иметь голову на плечах.

— Не во всякую голову все влезает, — пробубнил Хайн.

— Мне до чертиков смешно, — вытащив тощую пачку сигарет и снова спрятав ее, заговорил Эберт, — когда наши генералы и полковники разоряются насчет верховного главнокомандования. И там у них ошибка, и тут

просчет, и там не учли, и тут недомыслили... Ну словно малые дети, Хайн, ей-богу, словно малые дети. Хотелось бы мне спросить их: господа генералы и полковники, где вы были раньше? Почему только сейчас вы начали валить на фюрера и третье, и десятое? Фюрер очень нравился им, когда побеждал, откармливая их на убой, и увешивал орденами. И вдруг, когда пришлось жрать конину, разонравился? Скажу по секрету, Роске и все полковники перестали носить ордена. Оно и дельно: каждый дурак поймет, чем больше у тебя орденов, тем, значит, больше ты воевал и топил людей в крови. И становись к стенке. Хвали бога, Хайн, что у нас ни орденов, ни знаков отличий.

— А сам сказал, если бы учился, был бы генералом.

— Только не на русском фронте. Только не здесь, Хайн.

— Но ведь и ты кричал «хайль» фюреру, Эберт?

— Все кричали, и я кричал. А ты не кричал? — Хайн кивнул. — Дураки мы, что ли, болтаться на веревке или отдавать свои кости людоедам из гестапо? Все кричали, Хайн, все носили его на руках. И всем придется отвечать.

— Ты только потише, — остановил его Хайн. — Вдруг услышит эта крыса Шмидт.

— А черт с ним! Нет, Хайн, вот попомни мои слова, придется отвечать всем. Русские не дураки. Вы что, мол, все сплошь были идиотами, превознося фюрера и, словно толпа набитых дураков, по одному его слову нападая то на одну, то на другую страну? Что он, опиумом вас накачивал? Или ваши генералы не знали, на что шли? Или они не приказывали убивать женщин и детей?

— Ну-ну,— прервал Хайн разглагольствования Эберта. — Не говори вздора. Никто их не убивает.

— Дур-рак ты! — Эберт гневно засопел. — Черт знает чем начинена твоя башка. Уж мне ли не знать? Я веду переговоры не только с полками, но и с зондеркомандами и прочими соединениями, а их дело, олух, одно: резать всех подряд и брать все, что плохо лежит.

— Русские знают об этих командах? — осведомился Хайн.

— Еще бы. Они объявили список военных преступников.

— Неужели им известны все, кто обижали русских? — Хайн затрясся при мысли, что и его имя внесено в тот список и ему придется отвечать за украденного гуся. Он проклинал себя за шалую мысль сделать шефу подарок к Новому году.

— Все до одного,— глубокомысленно сказал Эберт.— Вот такие-то дела, Хайн. Конечно, кое-кому из генералов голову не снести, попадись они русским. Но у них есть один козырь. Скажут, что мы, мол, действительно были похожи на слепых котят и во всем виноват фюрер. Нам с тобой так не ответить. Фюрер фюрером, а штыком, скажут, ты работал, и гранаты метал, и дома сжигал...

— Ох, плохо нам будет! — прошептал перепуганный Хайн.

— Тебе-то не так плохо! Командующего они, может быть, и не повесят. Ты держись за него, что бы ни случилось. Ни шагу не отходи, брат Хайн, иначе будет худо. Жить тебе в бараке, кормить вшей. Генералам в бараках не жить. Кроме того, им по конвенции положен вестовой. Уж я-то знаю.

— Спасибо, Эберт, — взволнованно сказал Хайн. — Ты дал мне хороший совет. Ты добрый малый, толстячок! При случае я замолвлю за тебя словечко перед командующим. Возьми пачку сигарет. О господи, и понесло же нас в Россию! — закончил Хайн.

— Да уж! Генералам что, а нам кормить земляных червей или клопов, в лучшем случае.

Шмидт вышел из приемной и сердито сказал:

— Что за болтовня? Хайн, позвать к командующему генерала Роске! А ты чего, толстопузый дурак, околачиваешься в коридоре? — накинулся он на Эберта. — Дел нет в штабе? Марш на место!

Когда Хайн, выполнив поручение, вернулся в комнату командующего, Шмидт спросил его:

— О чем ты болтал с этой толстой свиньей, Хайн?

— Да так, разные глупые суждения, господин генерал-лейтенант. Что с нас взять? Два несмышленых гусенка.

Генерал-полковник улыбнулся впервые за весь день.

Пришел генерал Роске, молодой, низкорослый человек, с небритой щетиной на узком лице.

— Займемся делами. — Паулюс подсел к столу.

Часа два они работали, вызывая связных, отдавая приказы, перемещая полки и батальоны, намечая операции на следующий день и планируя будущие.

— Все, — сказал генерал-полковник и положил карандаш на стол. — Вы не нужны мне больше, господа.

— Хайль Гитлер! — скороговоркой пробормотал Роске.

Генерал-полковник не ответил.

Шмидт вышел, решив, что пришла пора отправить предостерегающий донос — нравственность командующего шаткая, психология опасная.

Шифровкой он слово в слово сообщил фюреру слова генерал-полковника и Адама — тоже.

11. ВОЛКИ И ЛИС

Гитлер, как взбесившийся пес, сорвавшийся с цепи, метался по кабинету в ставке Восточного фронта, размахивая телеграммой, и рычал.

— Вы читали радиограмму от командующего окруженной армии?! — выкрикнул он вошедшему Кейтелю.

Длинновязый Кейтель, в мундире с фельдмаршальскими знаками и орденами, вскинул монокль, вытянул старческую шею и прочитал то, что было написано на клочке бумаги, которую Гитлер дрожащими руками совал в нос фельдмаршалу.

— Это же бог знает что! — кипел фюрер. — Вы только послушайте, Цейтцлер, что он пишет. «Силы армии иссякают. Я не могу нести ответственность за дальнейшее...» Что это такое, а? Что это такое? — Теперь фюрер совал бумагу в нос Цейтцлеру. — Пошлите кого-нибудь в армию и пусть сдерут погоны с этого мятежника! — бушевал Гитлер.

Цейтцлер был моложе этих двух, один из которых играл роль Бонапарта, другой — маршала Даву. Первый, чтобы хоть чем-нибудь походить на императора французов, причесывался так, чтобы клок волос падал на лоб. Он видел некое предопределение судьбы в том, что оба они начинали свой путь почти одинаково: Бонапарт — капралом, этот — ефрейтором.

Как Бонапарт был продуктом века и исполнителем воли определенных сил Франции, так и этот не возник

сам по себе. Он тоже был продуктом и исполнителем замыслов могучих, страшных и преступных сил. И оба они шли в Россию — воистину ничто не ново под луной! — одной и той же дорогой...

Уроки обычно извлекаются потом. Но, увы, не всеми!

...Итак, Гитлер, яростно прокричав о том, чтобы с командующего окруженной армии были содраны погоны, ждал, что скажет Цейтцлер.

Фельдмаршал Кейтель отлично понимал, что лишение командующего окруженной армии погонов никак не выручит армию. Он растерянно переминался с ноги на ногу, потом, снова вытянув шею, замер.

— Я жду вашего ответа, — раздался гневный голос.

— Мой фюрер, вы правы, как всегда, — смиренно начал Кейтель.

— Отдайте соответствующий приказ, фельдмаршал.

— Слушаюсь, мой фюрер.

Тут вмешался все время молчавший третий, как сказано, самый молодой, осторожный и чрезвычайно озабоченный спасением своей шкуры генерал Цейтцлер, начальник штаба верховного главнокомандования.

Гитлер и Кейтель были так упоены победами, славословием, лестью и грохотом барабанов, что не слышали роковой поступи истории. Этот еще ничем не упоенный генерал молодым обонянием чуял, что не за горами времена, когда с обоих стоящих перед ним молодчиков начнут сдирать перышки. Со своими он не желал расставаться — ни яма, уготованная одному, ни петля — другому никак не улыбались ему. Кроме того, он хотел сохранить для потомства свидетельства о своей невиновности, а дела, не менее жесткие, чем дела этих двух, взвалить на них же.

— Мой фюрер, — заговорил он медленно и веско, — конечно, командующий армией достоин самого сурового наказания, но...

— Я не признаю никаких «но»! — взвизгнул Гитлер.

— Пусть говорит, — снисходительно сказал Кейтель. Он ненавидел Цейтцлера хотя бы уже за то, что тот был молод, умел быть осторожным и играть до поры до времени в поддавки, чтобы затем выложить на стол убийственную карту.

— Я слушаю, — ворчливо сказал Гитлер.

— Начну с общих вопросов. В связи с летним наступлением территория, захваченная на Востоке, не соответствует размерам оккупирующей ее армии. Другими словами, слишком мало находится солдат на таком огромном пространстве. Если эти два факта не будут приведены в соответствие, катастрофа неизбежна.

— Дальше!

— В этом году боеспособность русских войск стала гораздо выше и боевая способность их командиров лучше. Мы должны проявлять значительно большую осторожность.

— Вы отчаянный пессимист, — прервал Гитлер начальника штаба.— Здесь, на Восточном фронте, мы пережили более худшие времена и то остались живы. Справимся и с новыми трудностями.

— Для этого надо иметь войска. — Цейтцлер помолчал. — Войска есть. Я говорю об окруженной армии. Ее следует вывести, любыми средствами вывести из котла.

— Идея фикс! — Кейтель усмехнулся.

— В ней выход из создавшегося положения. — Помолчав, Цейтцлер добавил: — При таком положении срывать погоны с командующего армией, мой фюрер, нецелесообразно. — Как-никак Цейтцлер где-то в глубине своей душонки чувствовал себя виноватым перед генерал-полковником, успокаивая его невозможностью крупного русского наступления.

— Так слушайте! — Глаза Гитлера налились бешенством. — Дело не только в том, что я хотел выйти к Волге в определенном месте, возле определенного города. Да, я хотел взять этот город. Эту цитадель большевизма надо было уничтожить. Но это лишь часть огромной задачи, возложенной на меня историей. Я предпринимал летний поход прошлого, сорок второго, года на юг России, чтобы решить исход войны на Востоке или, по крайней мере, повлиять на исход ее. Моя цель была не только в захвате этого города на Волге. Неужели вы не понимаете, что значение рубежа Волга — Воронеж, захваченного нами, заключается в том, что он представляет собой выгодное исходное положение для нанесения нового удара на Москву и восточнее ее? Этот удар в сочетании с одновременным нашим прорывом на Центральном фронте из района Смоленска означал бы ката-

строфическую опасность для большевистских вооруженных сил...

— Но мы впервые слышим об этом, мой фюрер,— заикнулся было Цейтцлер.

— Я не обязан делиться моими планами, внушенными мне свыше,— обрезал его Гитлер.— В свое время вы услышали бы о них. И вот вы услышали. То, что не удалось в прошлом году, удастся в этом. Разбить и уничтожить войска южного фланга советских войск и тем самым исключить их дальнейшее участие в операции. Это снова изменит соотношение сил в пользу Германии. Мы немедленно начнем подготовку к новой операции, но для того я должен держать свою армию на Волге, отвлекая на нее силы большевиков. Капитуляция исключена. Армия выполнит свою историческую задачу, если она своим стойким сопротивлением облегчит создание нового фронта. Армия не покинет цитадели на Волге.

— Ее невозможно удержать, мой фюрер,— стоял на своем Цейтцлер.

— Я не оставлю Волгу, я не уйду с Волги!— истерически выкрикнул Гитлер.

— В несчастье мы должны показывать твердость характера,— поддакнул фельдмаршал Кейтель.— Вспомните Фридриха Великого.

— Тогда были другие времена, господин генерал-фельдмаршал,— возразил Цейтцлер, который тоже ненавидел сухопарого фельдмаршала за узость его мышления и был бы не прочь занять его место.

— Да, да!— не слушая их, выкрикивал Гитлер, бегая по кабинету.— Нам всем нужно помнить Фридриха Великого и его стойкость при любых обстоятельствах! Черт побери, что ж получается, если какой-то там генерал, всем обязанный мне, шлет возмутительные радиограммы и поучает меня? Провидение определило мою задачу как полководца и политика. Я, и только я, устанавливаю задачи политики и выполняю их на службе военного руководства— так говорил великий Людендорф! Да, да, вспомните его слова! «Во всех областях жизни должен быть решающим голос полководца и его воля»,— вот что он говорил. После этого можете сколько угодно болтать, но моя воля неизменна: окруженная армия— гарнизон крепости. Обязанность крепостных войск— выдерживать осаду. Если нужно, армия будет

находиться там всю зиму. Я деблокирую ее во время весеннего наступления.

— Этот город, мой фюрер, не крепость, — притворившись, что не теряет самообладание, нервно заговорил Цейтцлер. «Каждое мое слово принадлежит истории, — подбадривал он себя. — Смелей, смелей!» — И снабжать по воздуху армию уже невозможно.

Гитлер пришел в неописуемую ярость. Это говорил Хубе, теперь тем же ему досаждает этот...

— Геринг обещал наладить регулярное снабжение.

— Вздор, мой фюрер. Армия получает вместо остро необходимых тысячи тонн продовольствия не более тридцати тонн в день. — «Это тоже войдет в историю!» — Цейтцлер подмигнул сам себе.

— Я не уйду с Волги!

— Что ж, мы потеряем громадную армию и сами сломаем хребет всему Восточному фронту.

Гитлер обернулся к Кейтелю:

— Что скажете вы?

— Мой фюрер, не оставляйте этого города на Волге. Что подумает о нас мир? Что будет с нацией, когда она узнает, что, отступив от Волги, мы теряем бо́льшую часть территории, захваченной нами во время летнего наступления ценой огромных потерь? Но если мы не отведем окруженную армию, ее положение станет крайне тяжелым.

Так Кейтель выкрутился из щекотливого положения: ни да ни нет, посмотрим...

— Обратите внимание, — Гитлер с победоносным видом повернулся к Цейтцлеру, — я не одинок в своем мнении. Его разделяет офицер, который по должности выше вас. Мое решение остается неизменным.

Цейтцлер, выкрикнув: «Хайль Гитлер», пошел к себе, взял перышко и принялся строчить для поколений легенду, как он, рискуя головой, ратовал за спасение трехсот тридцати тысяч человек, принадлежащих к германской расе.

12. КОНЕЦ ИСТОРИИ С НОВОГОДНИМ ГУСЕМ

— Вот вам! — Шмидт за ухо втащил Хайна в комнату командующего. — Вот этот негодяй, господин генерал-полковник! Он обманул вас, меня и раненых, о которых вы проявили такую заботу!

Генерал-полковник спросонья не сразу понял, где он и в чем дело. Тускло горела электрическая лампочка. Пламя свечи, вставленной в бутылку, колебалось, и на стене возникали странные тени.

— Что случилось? — Генерал-полковник зевнул. Перед ним стоял пылающий негодованием Шмидт и вырывающийся из его рук Хайн.

— Он жрал гуся, я накрыл его с поличным. Жрал гуся в одиночку, спрятавшись в уборной!

Генерал-полковник рассмеялся. Он смеялся долго, всхлипывая и судорожно заглатывая воздух.

Шмидт оторопело смотрел на него. Воспользовавшись моментом растерянности, Хайн вывернулся и освободил ухо из цепких пальцев начальника штаба.

— Ты?.. В уборной?.. Новогоднего гуся? — все еще смеясь, выговаривал генерал-полковник.

— Я не понимаю и не разделяю вашего веселья, господин генерал-полковник,— обиженно заговорил Шмидт, вытирая руки платком: он был очень брезглив и чванился своей чистоплотностью.

— Напротив, Шмидт, напротив, вы должны радоваться. Хайн, старина, ты выручил меня и отвратил большую неприятность. Господин генерал-лейтенант упрекал меня в идеализме и утверждал, что, отдавая гуся двенадцати раненым, я возбуждаю против себя ненависть остальных. Молодчина, Хайн. Итак, я благодарю тебя за этот самоотверженный поступок.

Генерал-полковник вытер слезы, выступившие на глазах от смеха, привлек сияющего Хайна, обнял его и, хлопая по спине, приговаривал:

— Молодчина, ну молодчина!

Надо ли говорить, как в те минуты Шмидт ненавидел командующего и его ординарца...

— Кстати, Хайн, ты съел всего гуся или пожалел себя? Если да, поделись с господином генералом. Он так хотел откушать гусятины в канун Нового года.

— Оставьте! — Шмидт наморщился. — За кого вы меня принимаете? Чтобы я прикоснулся к гусю, который валялся в уборной?! Фу!

— Там все смерзлось, — заметил Хайн. — Ей-богу, никаких запахов. И если желаете...

— Замолчи! — вне себя от ярости выкрикнул Шмидт. — Иди и жри остатки!

— Не надо кричать на человека, который выручил меня, Шмидт. Надеюсь, Хайн, гусь, проглоченный тобой, не повредит твоему пищеварению?

— Никак нет, господин генерал-полковник! — весело ответил Хайн. — Я бы мог съесть еще одного, но пока мне до него не дотянуться.

— Ладно, иди и пируй, мошенник! — Генерал-полковник ласково шлепнул Хайна ниже спины. — Иди и прихвати с собой остатки коньяка. Гусь был отчаянно жесткий.

Хайн ушел ликуя.

Шмидт мрачно молчал.

— Как вы узнали об этом, Шмидт?

— Я послал ординарца в госпиталь. Он доложил, — никакого гуся туда не приносили. Зная, что Хайн уединяется изредка в своем тайном уголке, я застал его, когда он пожирал гуся.

— Вы блестяще провели эту сложную операцию, Шмидт. Итак, я благодарю и вас.

— Не за что, — натянуто рассмеялся Шмидт.

Генерал-полковник посмотрел на часы:

— Боже, я спал пять часов подряд! Уже двенадцатый! Где Адам? Он обещал достать шампанское. Мы разопьем его в честь Нового года.

— Я здесь, эччеленца! — Адам вышел из клетушки и остановился в дверях.

— Вы спали, Адам? — улыбнувшись, спросил генерал-полковник, заметив на полном и румяном лице адъютанта полосы, оставленные смятой подушкой.

— Так точно, эччеленца! Днем я посетил генерал-полковника Зейдлица, вернулся, когда вы спали, и не решился беспокоить вас.

— Что-нибудь новое?

— На фронте пятьдесят первого корпуса, эччеленца, без перемен. Генерал Зейдлиц сказал, что он придет поздравить вас с Новым годом, и прислал две бутылки «Клико».

— Отлично, Адам!

— Вы прочитаете оперативную сводку?

— Потом.

— Слушаюсь.

— Шмидт, вы передали в ставку то, что я приказал вам?

— Разумеется.

Адам рассмеялся:

— Представляю, как взбесятся фюрер и старик Кейтель, прочитав вашу радиограмму, эччеленца!

— Вы познакомились с ней?

— Мне показал ее радист Эберт, когда я заходил к генералу Роске за сводкой.

— Да, в ней мало приятного, — усмехнулся генерал-полковник. Отоспавшись, он чувствовал себя свежим, былая энергия вернулась к нему. — Кстати, позовем генерала Роске, Адам. Он, вероятно, сердит на меня за то, что я стеснил его, въехав в этот роскошный замок.

Адам снова рассмеялся:

— Ничего, эччеленца, на войне как на войне. А генерал Роске человек молодой, дивизией командует недавно, ему лестно быть в вашем обществе и охранять вас.

— Очень энергичный и инициативный генерал, — согласился генерал-полковник. — Он далеко пойдет, если... Впрочем, что гадать! Хайн, сходи за генералом Роске. Ах да, он ушел. Знаете, Адам, у нас тут невероятные события! — Генерал-полковник коротко рассказал адъютанту финал истории с новогодним гусем.

Адам расхохотался.

Шмидт мрачнел.

— Что-нибудь слышно от генерал-полковника Штреккера? — обратился к нему командующий.

— Затишье на всем фронте, — нехотя ответил Шмидт. — Боюсь, как бы русские не попытались отрезать северную группу и не посадили Штреккера в котел.

— Что ж, — меланхолически заметил генерал-полковник, — вместо одного будет два котла. Все идет к тому. — Он прислушался. — Действительно, тишина в городе необыкновенная.

— Отдохнем от канонады хоть одну ночь. Русские, видно, тоже решили отпраздновать Новый год. Потому и помалкивают.

— Надолго ли? — угрюмо выдавил Шмидт.

— Что за мрак накануне Нового года? — весело возразил Адам.

— Новый год! А что он принесет нам? — так же мрачно отозвался Шмидт. — Вообще историю этих последних месяцев можно охарактеризовать одной фразой: выше головы не прыгнешь.

— До́ма нас могут похоронить, — проговорил Адам.

— Ну, ну, Адам. Вижу, вы поддаетесь настроению Шмидта, — сказал генерал-полковник.

— Тут дело не в настроении, — помолчав, начал Шмидт. — Конечно, еще далеко не все проиграно, далеко не все, но интересно, сколько времени они будут наступать?

— До марта. Потом дороги развезет, — сказал Адам.

— Пожалуй, дольше, — вставил генерал-полковник.

— В Германии, — заметил Шмидт, — возможен кризис военного руководства.

Все помолчали, после чего генерал-полковник, зевнув, проговорил:

— Все это войдет в военную историю как блестящий пример оперативного искусства русских.

— Да, они научились воевать, что и говорить. — Адам стоял, прислонившись к двери.

— Садитесь, Адам. Что вы стоите?

— Спасибо, эччеленца! — Адам сел. — Можно курить?

— Разумеется. Вытяните и мне сигару вон из того ящика.

Шмидт, сидевший у стола и листавший библию, опередив Адама, передал сигару генерал-полковнику и заодно угостил себя.

Адам усмехнулся украдкой — вдобавок ко всем прочим «добродетелям», которыми в избытке был набит Шмидт, он любил выпить и покурить на чужачка.

— Что вы читали в библии, Шмидт?

— Я перечитывал Экклезиаст, господин командующий. «Все суета — сказано здесь. — ...Кружатся ветры на кругах своих и возвращаются на круги свои».

— Вряд ли мы возвратимся на круги свои, — пробормотал генерал-полковник.

— Нас одно может утешать: германская нация не забудет наших страданий и подвигов,— возразил Шмидт.

Адам поморщился.

— Мы отвоевали для нации такие грандиозные жизненные пространства... — с пафосом продолжал Шмидт, но Адам остановил его.

— Разве господину генералу неизвестно, что на огромных территориях, завоеванных нами, хозяйничают

Советы и партизаны? Даже в самых глубоких наших тылах?

— Мы уничтожим их, — отмахнулся Шмидт. — Нет, теперь границы рейха необозримы. Возврата к старым быть не может. Трудно поверить, что там, где мы сидим, проходит пограничная полоса с Советами...

— Которая горит под нами, — пробормотал Адам.

— Это поразительно, — не желая слышать Адама, сказал Шмидт, обращаясь к генерал-полковнику. — И уж будьте уверены, германская нация не уступит ни клочка завоеванной земли.

— И это кладбище, — добавил Адам с ироническим огоньком в веселых серых глазах.

— При чем тут кладбище? — Шмидт надменно поджал губы.

— При том, что эта полоса уже есть кладбище, которому суждено стать огромным. Вот при чем.

— Уж этот мне пессимизм! Один идеалист, другой пессимист. Ну и компания! — Шмидт посмеялся.

— Напротив, оптимизм, господин генерал-лейтенант. Я заживо кладу себя под деревянный крест ради фюрера. Разве это не есть высший оптимизм? Пусть граница пройдет через мою могилу. Уверяю вас, на том свете это доставит мне массу удовольствий.

— Это юмор висельника, Адам, с вашего разрешения.

— Я известный шутник, господин генерал-лейтенант. И что нам остается делать в нашем положении, как не шутить? Пусть будут мрачны те, кому после нас придется цепляться за границы рейха — старые или новые, безразлично. Пусть они вопят и бьют в барабаны по поводу священных и суверенных прав, пусть снова кричат о жизненном пространстве. А ведь так будет, если мы понесем поражение, непременно будет. К сожалению, уроки истории слишком быстро забываются. Не дай бог, чтобы тем безумцам, которые переживут нас, пришла в голову преступная мысль снова посчитаться с Советами. — Адам помолчал. — Впрочем, мне-то что. Я буду на том свете, где пространства для умерших не занимать.

— Вы не правы, Адам, — со смехом остановил его генерал-полковник. — После этой войны пространство для душ, вознесшихся на небеса, сильно сократится. Не придется ли господу богу подумать о расширении

его, как вы думаете? Может быть, ему тоже придется вторгнуться в пределы сатаны?

Адам долго смеялся.

— Однако скоро двенадцать, — поглядев на часы, сказал генерал-полковник. — Ладно, выпьем без Зейдлица и Роске. Они, вероятно, решили провести эти минуты со своими офицерами. Несите «Клико», Адам.

— Оно в снегу, эччеленца, во дворе. Я сейчас.— Адам вышел и вскоре вернулся с шампанским.

Покончив с гусем и незаметно выскользнув из пиршественного чертога, Хайн шел по пятам за Адамом. Бутылки с шампанским, замеченные Хайном, настроили его на веселый лад. Ясно, угостят и его. После гуся — шампанское! Это уж действительно настоящий пир, черт побери!

Без двух минут двенадцать Адам выстрелил в потолок пробкой, без одной минуты двенадцать Хайн помог ему разлить шампанское в бокалы. Ровно в двенадцать они поднесли шампанское к губам.

Ровно в двенадцать стены подвала дрогнули от разрывов снарядов. С потолка посыпались пыль и куски штукатурки. Раздался еще один очень близкий взрыв.

Хайн выбежал в коридор. Там, где он пировал несколько минут назад, зияла громадная дыра: снаряд, пройдя через три полуразрушенных этажа универмага, вдребезги разнес уборную. Свет в коридоре погас от взрывной волны. Люди метались в темноте. На верхних этажах, где бессменно дежурил офицерский охранный батальон, тоже началась паника. Люди отчаянно вопили, бежали стремглав вниз, кто-то стрелял, а канонада сотрясала все здание. Стреляла тяжелая артиллерия из-за Волги и все орудия, стоявшие на городском берегу, минометы и пулеметы; длинные трассирующие линии разрезали тьму ночи.

Хайн прижался к стене возле пианино, его трясло. Из комнаты командующего выбежал Шмидт и понесся в штаб Роске. Хайн ползком добрался до комнаты командующего. Тот сидел, уперев взгляд в пространство, лишь дергалось веко левого глаза. В остальном генерал-полковник походил на каменную статую. Адам говорил по телефону:

— Госпо...

— Перестань, Хайн! — Генерал-полковник поморщился. — Не кричи. Просто они готовятся к атаке. Еще к одной атаке, только и всего.

Хайн все еще дрожал.

И вдруг — это произошло на десятой минуте — все смолкло. Разом, по единой команде. Молчание было еще более жутким, чем обстрел.

— Сейчас русские пойдут в атаку, — пробормотал генерал-полковник. — Интересно, на кого они обрушатся: на нас или на Штреккера?

Он прислушался. Паника наверху утихла. Ни рева танков, ни визга пикирующих бомбардировщиков...

Стремительно вошел Шмидт.

— Они поздравили нас с Новым годом! — закричал он еще у входа. — Наши перехватили приказ командарма шестьдесят второй. — Он рухнул на стул.

Генерал-полковник вытер пот со лба.

— Командарм шестьдесят второй к тому же обладает немалой долей юмора, — с коротким и невеселым смешком заметил он. — Адам! Шампанское еще есть? Хочу выпить за своего остроумного противника. А я не догадался поздравить его подобным же образом. Вот оплошность!

Адам разлил шампанское.

— Прóзит! — Генерал-полковник поднял бокал. Все выпили. Все, кроме Шмидта.

13. ПАЛАЧ

Через несколько дней утром к Паулюсу явился комендант города, штандартенфюрер СС, коротконогий толстяк с расплывшимся лицом, в пенсне. Его перехватил Шмидт. Поговорив с ним, комендант постучался к командующему. Генерал-полковник сидел над картой фронта. Он был один.

— Вы вызывали меня, господин генерал-полковник? — Комендант платком вытер пот, катившийся градом: он страдал потливостью.

— Да, я вызывал вас, — сухо сказал генерал-полковник. — Прошу! — Он указал на табуретку, стоявшую по левую сторону стола.

Комендант сел, протер пенсне и водворил его на прежнее место.

— Разве так тепло на улице? — осведомился генерал-

полковник, заметив непрекращающиеся попытки коменданта избавиться от пота.

— Нет, это просто так. — Комендант скомкал влажный платок и сунул в карман. — Я весь внимание. — Комендант чуть-чуть заикался, — быть может, оттого, что слишком много видел всякого на своем веку.

— Скажите, в городе еще остались русские? Я подразумеваю под русскими всех, кто жил в этом городе до войны.

— Д-да, немного.

— Если вы не запамятовали, в вашем докладе месяц назад значилось, что русских мирных людей здесь нет, что все они бежали.

— Т-так точно.

— Куда и почему они бежали?

— Эт-то обычное явление, господин генерал-полковник. Они бегут от нас, как от чумы.

— Быть может, потому, что мы кажемся им чумой?

— К-коричневой, как у-утверждают большевистские комиссары, — хихикнул комендант.

— И они бегут только потому, что так нас называют комиссары?

— Н-ну и не совсем так, господин генерал-полковник. Ев-вреи и всякая ч-чернь распускает слухи о нашем якобы н-недружелюбном отношении к м-мирным жителям.

— Замечу, что и до меня дошли эти слухи. Рейхсфюрер СС, Гиммлер то есть, ваш непосредственный верховный руководитель, при моем назначении командующим армией сказал, чтобы я уничтожал всех евреев и коммунистов. Разумеется, он шутил.

Комендант, раскрыв пухлые губы, уставился на командующего. «Или он валяет дурака, или действительно принял за шутку приказ рейхсфюрера СС!»

— Н-не думаю.

— Что не думаете?

— Шутки неуместны с марксистами и евреями, господин генерал-полковник, когда речь идет о том, чтобы полностью освободить от них Европу.

— Я не понимаю. Вы что ж, намереваетесь выселить евреев в Палестину?

«Валяет дурака!» — решил комендант.

— Палестина? Они наплодятся там и снова распространятся по всему миру.

— Значит, если я правильно понял вас, они должны быть уничтожены?

— Это в-высшая политика, господин генерал-полковник, а я лишь исполнитель.

— Исполнитель чего?

— Соответствующих п-приказов.

— Каких?

— Р-разве они не известны вам?

— Раз я спрашиваю, извольте отвечать! — резко возразил генерал-полковник.

Комендант развел руками:

— П-приказов много.

— Я спрашиваю, каких?

— Я не см-могу перечислить их.

— Извольте не паясничать! — прикрикнул на коменданта генерал-полковник. — Я вызвал вас не для того, чтобы терять время попусту. Какие приказы вы получали о евреях и мирных жителях?

— П-позвольте заметить, господин генерал-полковник, я, в сущности, не подчинен командованию ар-рмии и несу ответственность п-перед другими инстанциями.

— То есть?

— Вы уже назвали то лицо.

— Ах вот как?

— Т-так точно.

— Значит, если я правильно понял вас, армия, оккупирующая этот район, и командование, возглавляемое мной, не в праве вмешиваться в ваши прерогативы?

— Б-более или менее.

Генерал-полковник откинулся на спинку стула и несколько мгновений молча смотрел на человека, снова принявшегося вытирать пот.

— Р-разве вас не информировали об этом? — невинными глазами глядя на командующего, спросил комендант. — Господин генерал-полковник, вы прошли со своей армией до Волги. Я далек от мысли, что вы лично истребляли марксистов и евреев, но ведь их истребляли повсюду, куда бы ни ступал германский солдат. Это его в-высшая миссия. В-ваша армия — не исключение из общего правила, и я, п-простите, никак не могу понять этого п-приступа человеколюбия к элементам, п-подлежащим уничтожению во имя блага рейха.

Генерал-полковник открыл рот, чтобы возразить, и снова закрыл его. Что возразить? Он отлично знал, что его армия, как и другие, убивали тех, кого Гиммлер называл марксистами и евреями. Будь генерал-полковник и его армия в другом положении, разговора подобного рода могло бы не случиться. Но армия в котле, в котле и ее командующий. Генерал-полковник не думал о смерти. Толстые стены подвала оберегали его от бомб и снарядов. Но он мог попасть в плен. И хотя Шмидт говорил, будто германские генералы не сдаются в плен, они сдавались и сдаются. Если верить русским, их вовсе не вешают и не пытают. Может быть, так оно и есть. Однако допроса не миновать. И не миновать разговора об уничтожении людей, тысяч и сотен тысяч людей... И ответственности за это тоже...

Нет, он не был трусом, но страх перед неизвестностью владел им постоянно. Как с ним поступят? Перед кем ему придется отвечать? И за что конкретно? Теперь, когда генерал-полковник постепенно приучил себя к мысли, что во всем решительно виноват только фюрер и те, кто ему что-то там советуют, надо было найти виновника убийств русских мирных людей. Виноваты, разумеется, фюрер и Гиммлер. Но они далеко. Непосредственного виновника надо найти здесь. Почему бы им не быть вот этому типу, от которого так отвратительно пахнет потом?

Командующий взглянул на сидевшего перед ним штандартенфюрера СС, на толстощекое лицо, на лоб, покрытый капельками пота.

«Есть преступники объективные и есть преступники субъективные, — размышлял генерал-полковник. — Ведь лично я никого не убил, значит, хотя, быть может, я и преступник, но преступник символический, отвечающий за все вообще. А вот этот, плавающий в поту, безусловно, преступник без всяких скидок на «вообще»!»

Не отводя сверлящего взгляда от коменданта, Паулюс сурово сказал:

— Отвечу вашими же словами. Приказов слишком много. Я не успеваю читать их. Но в одном могу заверить вас, господин полковник... Имеются ли подобные ограничения власти командующих армиями в других оккупированных районах или нет, я не знаю, но у себя в армии я не потерплю исполнения приказов об уничтожении мирных людей. С вашего разрешения, я солдат, а не палач.

— П-палачи, господин командующий, к сожалению, п-профессия необходимая при соответствующих обстоятельствах.

— У меня в армии их нет и не будет! — выкрикнул Паулюс. — Слышите, не будет!

— Все возможно, господин генерал-полковник. — Комендант пожал плечами.

— Хорошо, оставим это. Вернемся к тому, с чего я начал. Вы сказали, что все мирные жители, за исключением немногих, покинули город. Это было до прихода моей армии сюда?

— И п-после.

— Как они могли уходить, если все входы и выходы из города закрыты?

— Их ловили, очевидно.

— Кто?

— Н-не русские же, господин командующий.

— Значит, их ловили...

— Мы. То есть действующие на оккупированных территориях группы СД.

— Но ведь группы СД, как я знаю, наблюдают за безопасностью в зоне военных действий, в тылу, разве не так? Это служба безопасности, если определить точно функции СД.

— С-совершенно верно. Но русские, с их ужасно примитивным мышлением, называют группы СД карателями. Может быть, потому, что СД действительно карают ослушников и врагов рейха.

— То есть заботятся об охране политической нравственности русского населения, оставшегося на оккупированных нами территориях, так, что ли? — Паулюс нагонял и нагонял на себя раздражение.

— В-в принципе, конечно. Но для этого СД и специальным группам, называемым эйзацкоманде, приходится заниматься делами не совсем приятными.

— То есть?

— Господин генерал-полковник, — взмолился комендант. — Скажите, ради бога, вы шутите или всерьез?

«Ах, вот как? — рассвирепел генерал-полковник. — Вдобавок ко всему ты подозреваешь меня в комедиантстве? Ну, поберегись!»

— Молчать! — выкрикнул он. — Я сейчас так далек

от шуток, как никогда... Что вы называете не совсем приятным делом?

— Л-ликвидацию...

— Ликвидацию кого?

— Тех, кто угрожает безопасности армии, рейха и подрывает политическую н-нравственность русского населения, вверенного нашему попечению.

— Кто они?

— Н-ну, в первую очередь комиссары, потом евреи и вообще так называемые советские служащие.

— Советские служащие? То есть чиновники?

— Так точно.

— Чиновники угрожают нашей армии и рейху? Да вы что, издеваетесь надо мной? — Генерал-полковник повысил голос. — Мой отец был чиновником, и я знаю, чиновники самые мирные и спокойные люди... Много их было в городе, когда мы вошли сюда?

— П-порядочно.

— И некоторые из них хотели покинуть город?

— Так точно.

— Слава богу, наконец мы добрались до желтка. Значит, СД и эйзацкоманде ловили мирных людей, когда они по неизвестным причинам собирались покинуть город, а их... Как вы сказали?

— Л-ликвидировали.

— Ликвидировали только за то, что они не желали оставаться в зоне военных действий и хотели спасти свои жизни?

Комендант молчал.

— Командование армией знало об этом... об этом мероприятии?

— Б-безусловно, господин командующий. Как же иначе!

— Кто мог знать об этом из моих подчиненных?

— Если этого не з-знали вы, господин генерал-полковник, то об этом н-непременно должен знать генерал-лейтенант Шмидт. То есть оп-перативная часть штаба.

«Великолепно! — со злорадством подумал Паулюс. — Значит, есть еще один виновник, и он — Шмидт! Пусть отвечает вместе с этим сукиным сыном. Уж кого-кого, а Шмидта я не пожалею!» И вслух сказал:

— Почему вы думаете, что об этом знала оперативная часть армии?

— Потому что через оперативное управление группы армий фельдмаршала Вейхса она п-подчиняется главному оперативному управлению генерального штаба сухопутных войск, господин генерал-полковник.

— То есть генерал-лейтенанту Адольфу Хойзингеру?

— Так т-точно!

— Я знаю генерала Хойзингера, долго работал вместе с ним. Он принимал деятельное участие в составлении «плана Барбаросса»...

— Плана нападения на Советы, хотите вы сказать? — с намеком произнес комендант. Ему было известно, что Паулюс приложил руку к этому плану.

— Я сказал, что сказал, — раздраженно заметил генерал-полковник. — Но при чем генерал Хойзингер в данном случае?

Комендант снова оторопело посмотрел на сгорбившегося командующего армией.

— Да ведь именно генерал Хойзингер п-подписал директиву о том, что п-политические руководители Красной Армии не считаются военнопленными и должны уничтожаться, самое п-позднее, в т-транзитных лагерях. Генерал Хойзингер прямо указывает, что самое лучшее — устранять их посредством повешения.

— Но ведь это касается только комиссаров, насколько я понимаю.

Комендант пожал плечами.

— Н-ну, не совсем так. Имеются в виду — и те, кто мог бы быть обременительными свидетелями...

— Свидетелями чего?

— Наших, э-э, акций по ликвидации всех врагов рейха. А русские, см-мею заметить, почти сплошь враги рейха.

— Так и сказано в директиве Хойзингера?

— Б-безусловно, господин генерал-полковник. Он же связан с гестапо и п-полицией безопасности, а они занимаются этим же. И фюрер, н-насколько я з-знаю, очень доволен его решительностью в уничтожении врагов германской нации.

— Хорошо. Последний вопрос: чем занимаетесь вы?

— Я?

— Да, вы!

— Н-навожу порядок в городе.

— «Порядок в городе»... Разве еще остались люди, которые могли бы нарушить его?

— Они были.

— Но теперь их нет. И вы, значит, не страдаете от обилия работы?

— П-пожалуй.

— Так вот вы возьмете автомат и с этого часа будете просто солдатом. Комендантом я назначу человека, который далек от политики и очень хорошо знает, что такое мирный человек и как с ним надо обращаться. Итак?

Комендант, вспотев с ног до головы, выкрикнул:

— Я подчиняюсь не вам, а рейсхфюреру СС!

— С этой минуты вы подчиняетесь мне. Если попытаетесь уклониться от несения солдатской службы, я вас ликвидирую. Вы свободны.

Комендант, пошатываясь, вышел.

Паулюс некоторое время сидел молча. Он был потрясен. Никогда ему не думалось, что дело может зайти так далеко.

Он открыл дверь клетушки. Адам спал, но, почувствовав прикосновение руки, тотчас вскочил.

— Да, эччеленца? Простите, я заснул.

— Мне нужно поговорить с вами.

— Я слушаю вас.

— Садитесь, что вы в самом деле! — нахмурился генерал-полковник. — У меня только что был комендант города. Он наговорил черт знает чего. Будто есть указания о самой зверской расправе с мирным населением. Вы знали о чем-либо подобном?

Адам посмотрел с изумлением на шефа. Нет, не притворяется.

— Разумеется, эччеленца. Разве вы не читали кое-какие документы, подписанные Кейтелем, Гиммлером и другими официальными лицами?

— До того ли мне было! Но как раз об этих документах и шел разговор с комендантом. Они есть у нас?

— Сию минуту, эччеленца. — Адам ушел и вернулся с папкой бумаг. Специальная наклейка свидетельствовала о ее сверхсекретном содержании. — Вы хотите прочитать сами или разрешите мне?

— Читайте.

— Я предложу вашему вниманию лишь выдержки.

Генерал-полковник кивнул.

— Так вот, за четыре недели до нашего выхода на территорию России Гиммлер создал части специального

назначения, называемые эйзаценгруппы. Им было приказано следовать за германскими армиями для пресечения любого сопротивления. В развитие этого приказа двадцать третьего июля, то есть через месяц после начала кампании, Кейтель издает следующую директиву: «Учитывая громадные пространства оккупированных территорий на Востоке, наличие вооруженных сил для поддержания безопасности будет достаточно лишь при том случае, если всякое сопротивление будет караться не путем судебного преследования, а путем создания такой системы террора и применения таких драконовских мер, которые навсегда бы искоренили у населения мысль о сопротивлении рейху».

— Так! — вырвалось у генерал-полковника.

— Теперь, эччеленца, предложу вашему вниманию высказывание рейхсфюрера Гиммлера. Он говорит буквально следующее: «Меня ни в малейшей степени не интересует судьба чеха или русского. Если явится в том необходимость, мы будем отбирать у них детей и воспитывать их в нашей среде. Вопрос о том, выживет ли данная нация или умрет с голоду, беспокоит меня лишь постольку, поскольку данная нация нужна нам в качестве рабов. В остальном судьба их не представляет для меня никакого интереса...» Читать дальше?

С угрюмым видом генерал-полковник снова мотнул головой.

— «Проблема эвакуации русских из центральных областей, из Украины и Крыма, и заселение их немцами. В будущем русским крестьянам предстоят тяжелые годы. Многие десятки миллионов людей в этих областях окажутся лишними и должны помереть от голода. Попытки спасти их от голодной смерти подорвут шансы Германии выиграть битву за господство над миром. В этом вопросе должна быть абсолютная ясность...»

— Довольно! — резко сказал генерал-полковник. Глаз его мучительно дергался. «Да, дело зашло далеко... Уничтожение голодом целых наций! О господи!» — Хорошо, — хрипло заговорил он. — Все это бредовые теории. Но неужели они приводятся в исполнение?

— Не знаю, как на других фронтах, эччеленца, но у нас... Впрочем, недавно мы захватили несколько документов. Они, предупреждаю вас, эччеленца, тягостны для чтения...

— Тягостны для чтения! — с усмешкой повторил генерал-полковник. — Еще более тягостным будет мой ответ, если я не узнаю всего, чтобы объяснить, как это случилось. Откуда документы?

— Они русские.

— Надеюсь, не пропаганда?

— Они засвидетельствованы подписями, достоверность которых, эччеленца, не вызывает сомнений.

— Я слушаю.

— «Акт. Мы, нижеподписавшиеся, лейтенант Михаил Борисов, санитар Редкина, санитарный инструктор Сизухин и солдат Кириллов, составили настоящий акт в том, что в поселке Безымянный, который занимали немцы, нами обнаружены: труп женщины 55 лет, у которой отрублена половина головы; труп женщины 30—35 лет, изнасилованной и казненной, — вырезаны обе груди, отрезана верхняя губа и подбородок; мальчик 12—13 лет, видимо, сын казненной женщины, проткнут в нескольких местах штыками». Не хватит ли?

— Нет, — хрипло сказал генерал-полковник. — Я хочу знать все.

— Во дворе нашей комендатуры на Советской улице стоит виселица, эччеленца. Я сам видел труп повешенного старика. Он повешен якобы за связь с партизанами. Это, конечно, ложь: ему было восемьдесят лет. В городском саду около театра я видел трупы двух замученных девушек. На рыночной площади еще несколько дней назад висели три повешенных юноши — их обвинили в том, что до нашего вступления в город они работали на тракторном заводе и делали танки. Мне рассказывали люди, в честности которых я не могу сомневаться, что вся дорога к Ново-Алексеевке, куда гнали мирных советских людей, устлана их трупами. Их расстреливали только за то, что они хотели отдохнуть...

— Это ужасно, Адам!

— Да, эччеленца, и мы будем отвечать за Гиммлера, за Кейтеля, за все зверства комендантов и групп СД.

Долгое, угрюмое молчание. Слышны были лишь шаги часового во дворе. Снег похрустывал под его сапогами. Генерал-полковник встал. Голова его раскалывалась. Слишком много узнал он за этот день. «Узнал, но не увидел, — мелькнула мысль. — Я должен видеть это, — сказал он себе. — Своими глазами... Я обязан перед своей со-

вестью видеть то, что видел Адам и тысячи других людей». — Он обернулся к Адаму. — Сделайте одолжение, найдите кого-нибудь из русских, не из военнопленных, а простого русского человека, который бы сам видел то, что видели вы. И приведите его сюда.

— Слушаюсь, эччеленца! — Адам понятия не имел, зачем командующему понадобился русский человек, но от вопросов предпочел воздержаться.

— Идите. И попросите ко мне Шмидта.

— Да, эччеленца.

Шмидт пришел злой: он еще не успел позавтракать.

— Садитесь, — прозвучал властный голос. — И прошу отвечать без всяких там психологических этюдов.

Шмидт с ужасом подумал, что его роль в штабе армии раскрыта. Командующий вызывал коменданта. Тому, разумеется, известна вся агентура СС и гестапо в армии. Он пытался выудить у коменданта, зачем его вызвал командующий. Тот разводил руками. Как на иголках сидел Шмидт у себя, пока командующий разговаривал с штандартенфюрером СС.

— Я всегда готов отвечать на любые ваши вопросы, — напыщенно проговорил Шмидт. — При чем тут психологические этюды?

— Вам известно, что на территории, занятой армией, или на той, что была занята до окружения, действуют оперативные группы полиции безопасности?

— Так точно, господин генерал-полковник. Вернее, не оперативная группа, потому что она огромна и сфера ее действий — армейская группа фельдмаршала Вейхса, а оперативная команда.

— Вы знакомы с ее задачами? — спросил генерал-полковник.

— Разумеется. Ликвидация всех лиц, угрожающих безопасности рейха и чистоте германской расы. Группы были направлены в армейские соединения, а команды во все армии, как только мы покинули границы рейха, господин генерал-полковник. Делалось это в порядке соглашения между начальником верховного главнокомандования фельдмаршалом Кейтелем, рейсхфюрером СС Гиммлером и начальником оперативного управления генерального штаба генералом Хойзингером.

— Кейтель и Хойзингер подписали соглашение об уничтожении целых наций?

— Бог мой, но вы сами подписали приказ о назначении связного между командованием армии и эйзацкоманде.

— Я?

— Могу принести приказ.

Генерал-полковник помолчал. «Ах вот как! Значит, есть документы?»

— Когда я подписал приказ?

— При вступлении в эту область.

— Этого не могло быть!

— Тем не менее, — усмехнулся Шмидт, — вы его подписали. Быть может, вы не вникли в суть дела и подписали механически. Возможно, ваши мысли в тот момент действовали в ином направлении. Но факт остается фактом. Что делать, господин генерал-полковник. Все мы связаны одной веревочкой и все понесем ответственность...

— ...понесем ответственность, — повторил генерал-полковник...

— ...поэтому-то я вчера и сказал вам: германские генералы не имеют права сдаваться в плен большевикам.

— Да, да, конечно.

— Кроме того, господин генерал-полковник, русской разведке отлично известно, кто именно в германском генеральном штабе разрабатывал план нападения на Россию. Равным образом они знают, что автор плана и тот, кто привел свою армию, куда еще никогда не ступала нога германского солдата, — одно лицо. И это лицо — вы!

Последние слова Шмидта прозвучали подобно выстрелу из пистолета.

— Я понимаю это, Шмидт, — устало сказал генерал-полковник. — Простите, еще одну минуту. Приказываю распустить эйзацкоманде, а людей ее послать рыть траншеи.

— Это уже сделано. Поскольку у них иссякли возможности деятельности...

— то есть они ликвидировали всех, хотите вы сказать?

— ...мы нашли целесообразным занять людей команды другими работами.

— Хорошо. Прошу немедленно найти тот приказ и прислать мне. Сейчас же. Без промедления. Идите.

Шмидт вышел с непроницаемым лицом.

«Одной веревочкой...» — вспомнились генерал-полковнику слова начальника штаба. — Одной веревочкой с

людьми вроде Гиммлера! Бог мой! Отныне я сообщник этого мерзавца — штандартенфюрера СС и Шмидта, которого знать не знал восемь месяцев назад... Кстати! Почему так внезапно был снят мой предыдущий начальник штаба и заменен Шмидтом? Почему на все мои возражения не последовало ответа? Почему Иодль, когда я через фельдмаршала Вейхса выразил свое удивление и протест, передал мне, чтобы я не вмешивался в функции оперативного управления главного командования? И почему всякий раз, когда мы в разговоре с Адамом упоминаем имя Шмидта, Адам подозрительно усмехается? Что он знает? Что скрывают от меня? Быть может, кто-то стоит тенью за спиной Шмидта?..»

Генерал-полковник встал и, тяжело ступая, прошелся по комнате. Серый, унылый день... «Вот уже начался новый год! С новым счастьем, ха-ха! С новыми радостями, ха-ха! С новыми успехами, ха-ха!»

Толстяк Эберт принес приказ, козырнул, повернулся, словно на пружине, и вышел. Генерал-полковник перечитал приказ, чиркнул спичкой, сжег бумагу, сдунул пепел на пол и растоптал его.

Вошел Адам, повел носом.

— Чем-то пахнет, эччеленца?

— Пахло чем-то весьма нехорошим. Но теперь все в порядке. Кстати, Адам, я все хотел спросить вас... Почему вы так недружелюбны к Шмидту?

— Эччеленца?!

— Вы усмехаетесь всякий раз, когда мы заговариваем о нем в его отсутствие.

— Мне... Хм! Мне не слишком нравятся некоторые черты его характера.

— И только? — Взгляд генерал-полковника неотступно следил за выражением глаз адъютанта.

— Так точно, — последовал не совсем уверенный ответ.

— Мне лжет Хайн, Адам, — сухо заговорил генерал-полковник. — Он лжет на каждом шагу, но его ложь мальчишеская, глупая и безвредная. Зачем лжете мне вы?

— Эччеленца!

— Адам, вы косите глаза...

— Но...

— Вы покраснели к тому же.

— Да, я сказал неправду. — Адам стоял повесив голову, как Хайн в минуты раскаяния.

«Мальчишки оба!» — подумал генерал-полковник.

— Итак?

— Я бы не хотел передавать вам сплетен, эччеленца.

— Сплетен?

— Да. Но ведь это только сплетня...

— Именно?

— Этого никто не знает наверняка.

— Адам! Вы выводите меня из терпения.

— Эччеленца, в штабе говорят, будто генерал-лейтенант Шмидт — приставленный к вам шпион гестапо.

Генерал-полковник вздрогнул, словно его обожгло ударом бича.

«Ну, в таком случае, Шмидт, вы не отвертитесь. Даю слово, приложу к тому все старания!» — Генерал-полковник жестко усмехнулся.

— Но, эччеленца, повторяю, кто может это знать?

— Да, конечно, — рассеянно проговорил генерал-полковник. — Знает только он... Если это правда, разумеется.

— Да, эччеленца.

— Вы помните приказ фельдмаршала Вейхса о снятии бывшего нашего начальника штаба, Адам?

— Это было в апреле.

— Почему его сняли и заменили Шмидтом?

Адам пожал плечами.

— Хорошо. Забудем этот разговор до тех пор, пока я не возобновлю его сам. Вы нашли русского?

— Так точно. Он в приемной, эччеленца.

— Пригласите его. У нас есть какая-нибудь еда и выпивка? Принесите, что найдете.

14. СТАРИК И ГЕНЕРАЛ

Вошел старик. Комковатая, полуседая, полурыжая борода, свалявшиеся волосы; изможденное, в синеватых прожилках лицо и безмерно усталые, слезящиеся глаза... Ватник, порванный на локтях, ватные брюки с заплатками на коленях, расхлюстанные валенки, обклеенные внизу резиной от автомобильной камеры... Шапку собачьего меха, изъеденную молью, старик перебирал неестественно скрюченными пальцами.

Он молча стоял у двери, переминаясь с ноги на ногу, устремив на генерал-полковника взгляд, полный безразличия. Он лишь отметил про себя, что этот сгорбленный че-

ловек давно не брился, что китель его сильно помят и помята шинель, а глаза, рассматривающие его, — холодные, серые глаза — тоже не слишком веселы.

Адам, принесший блюдо с жареной кониной и капустой, налил в стакан шнапса.

— Ауфидерзен, — тихо сказал старик.

— Варум? — Генерал-полковник пожал плечами.

— Ауфидерзен, — повторил старик, пожевал губами и, поглядев на потолок, замолчал.

— Он что, не хочет разговаривать со мной, Адам?

— Нет, эччеленца, старик повторяет это слово просто так. Думается, это единственное, что он знает по-немецки. — И, предваряя вопросы шефа, добавил:

— Ему шестьдесят три года. По его словам, он работал на тракторном заводе слесарем, сейчас на пенсии. Его зовут Иван Скворцов. Точнее, Иван Фомич Скворцов. Он живет в землянке, в сорока минутах ходьбы отсюда. Хайн украл гуся у него. Я обнаружил в землянке связку дров, и ничего больше.

— Ничего?

— Да. Он спит в том, в чем ходит. Ни подушки, ни одеяла. Ничего.

— Распорядитесь послать Хайна на три дня в карцер, Адам.

— Слушаюсь, эччеленца.

Старик все еще стоял понурив голову, не проявляя никакого интереса к людям, разговаривавшим на языке, ему не понятном. Пальцы, перебиравшие шапку, привлекли внимание генерал-полковника.

— Подагра? — спросил он, обращаясь к Адаму.

Адам перевел старику вопрос. Он неплохо говорил по-русски.

Старик поглядел на пальцы, помотал головой.

— Проволока.

Адам спросил еще что-то, старик отвечал нехотя.

— Он сказал, что пальцы скрючены от проволоки. Его допрашивали, связав руки проволокой.

Генерал-полковник на миг закрыл глаза.

— Наши допрашивали?

— Разумеется, эччеленца.

— Пусть он сядет. Спросите его, почему ему перекручивали пальцы во время допроса и были ли такие случаи с другими русскими.

Старик присел на краешек табуретки, провел ладонями по волосам, приглаживая их. Шапку он положил на стол. Адам взял ее двумя пальцами и осторожно переложил на подоконник. Потом заговорил со стариком.

— Он сказал, эччеленца, что у него хотели узнать, где прячутся комиссары и евреи. Он говорит, что так допрашивали всех русских, но тем не повезло, а его отпустили. Он три дня провел в бункере эйзацкоманде со скрученными пальцами.

— Так. — Глаза генерал-полковника снова закрылись. — Пусть он поест, потом я поговорю с ним.

Адам перевел.

Старик принялся есть. Ел он медленно, основательно. Не поморщившись, выпил стакан шнапса.

Адам молча прохаживался по комнате, изредка бросая взгляд во двор, где густо шел снег, закрывая все видимое. В городе гулко ухали орудия и слышалось визжание мин.

Старик ел, не обращая внимания на то, что происходило в комнате и на улице. Он аккуратно цеплял вилкой капусту, отрезал куски мяса и прожевывал их неторопливо. Ему некуда было спешить. Хотя он не знал, зачем его позвали к немецкому генералу, но был спокоен — немцы не кормят тех, кто должен умереть. Стало быть, смерти не будет. Остальное не тревожило старика. Всякие слухи доносились до него. Он знал, что гитлеровцам скоро конец. «Едят конину. Ха! И, поди, не от сладкой жизни генерал забрался в эту собачью конуру. Сидит на койке, нахохлившись, думает что-то про себя. Думай не думай, каюк вам. Вам каюк, а я выживу, если не рассерчают и не прикажут расстрелять. Да не стоят они того, чтобы за неосторожное слово отдавать жизнь! Нет, он, Иван Скворцов, хочет увидеть конец этого горя, он хочет увидеть своих. Они скоро придут. Тогда можно помереть».

От выпитого шнапса старик повеселел.

— Благодарствую. — И отодвинул очищенное им блюдо, после чего вытянул из кармана бумагу и принялся свертывать цигарку.

— Он благодарит вас, эччеленца.

— Не за что. — Генерал-полковник перебрался к столу. Старик, поняв, что с ним будут разговаривать, сел так, чтобы быть лицом к лицу с генералом.

Тот взял со стола бумагу, сложенную для цигарок, как складывают ее курильщики махорки, и машинально раз-

вернул. Немецкий текст. Подпись коменданта — штандартенфюрера СС. Приказ о том, что каждому, кто перейдет Аральскую улицу, уготован расстрел.

— Вы читали это, Адам? — передав бумагу адъютанту, спросил генерал-полковник.

— Да, эччеленца. Такие приказы развешаны почти на каждой улице.

— Значит, русским запрещено ходить по любой из здешних улиц?

— Вероятно.

Молчание.

— Спросите, чем он занимается в настоящее время?

— Живу, — ответил старик. — Живу. — И широко улыбнулся. — Вот живу, значит.

Шнапс и еда согрели его. Ему было хорошо. Поговорить с генералом можно... Почему бы и нет?

— Приболел, видно, товарищ генерал? — обратился он к Адаму и тут же поправился: — Прошу прощенья, какой же он мне товарищ! — Старик посмеялся. — Я ему не товарищ, никак нет.

Узнав, что генералу нездоровится, старик соболезнующе покачал головой.

— Климат не тот для вашего брата. Слышал, у вас там таких зим в глаза не видывали. Лютые у нас зимы. А уж в степу, в студеный день, да при ветерке, — боже упаси быть в такие дни в степу! Сразу в сосульку преобразуешься. Нам-то привычно. Твердые мы, очень твердые. Одним словом, живучие. Нас не согнешь. — Он поглядел на свои пальцы и добавил: — Не согнешь.

Адам переводил речь старика. Генерал-полковник слушал, склонив голову. Старик затянулся цигаркой и закашлялся. Табачного запаха генерал-полковник не ощутил.

— Спросите, что он курит.

Старик с готовностью снова вытянул засаленный кисет, вынул из него щепоть чего-то бурого, вовсе не похожего на табак.

— Это лопушок, с лета заготовленный. Ботва тыквенная и еще кое-что. Одним словом, сборная селянка. — Он подмигнул генерал-полковнику. — Если желаете, отведайте нашего военного табачку, господин генерал.

Паулюс пожелал отведать, но свернуть цигарку ему не удавалось. Старик ловкими движениями изуродованных пальцев свернул козью ножку.

— Может, господин генерал брезгует, так что пусть сам послюнявит кончик.

Паулюс, видевший, как старик слюнявил конец цигарки, последовал его примеру, затянулся и сразу зашелся отчаянным кашлем.

— Вот то-то и оно! — поучительно проговорил старик. — Не для вашего это естества. Для такого табаку требуется русское естество, господин генерал. Не скажу, чтоб оно какое-то особенное, но все-таки... Так сказать, приучены к всеразличным обстоятельствам, и еще не такое снесем, не дай бог тому стрястись. Мы тут лет двенадцать назад ставили тракторный завод. Что мы пережили в те времена в отношении трудностей — пересказать возможности нет. Однако пережили. Конечно, власть очень содействовала, чтобы все-таки люди жили по-человечески. Особенно молодежь была с энтузиазмом. Но мы тоже не отставали. Все утруждали себя до седьмого пота. Погодя обучились, да и техники поприбавилось. Одним словом, легче стало.

Адам вполголоса переводил. Генерал-полковник, с лицом ничего не выражавшим, слушал, не перебивая старика.

— Тракторный завод наш, кабы вы его не разбили, стоял бы по сию пору. Простите за слово, вот теперь, как покончим с вами, опять придется тракторный ставить. И город, надо думать, воспроизведем сызнова. Ямки сровняем подчистую. — Старик задумался. — А может, кое-какие ямки оставим для показа поколению, — добавил он, глядя вдаль.

— О каких ямах он говорит, Адам?

— Обыкновенные, господин генерал, земляные, — заговорил старик, выслушав Адама. — Народ там захоронен. То есть те, кому, значит, не повезло после допросов. Много тут таких ямок, господин генерал, ох много. Мужчины наши до последнего вздоха были вашими супротивниками, как, скажем, двое моих ребят. Хотели уйти к своим, а их поймали ваши — и, значит, в ямку, поскольку ребята добровольно объявили, что они коммунисты, хотя и не состояли до того в партийных рядах. И всяких других безвинных — женщин и детей, к примеру, — туда же отправляли, в ямки, ваше превосходительство.

— Как? — переспросил Адам.

— Виноват, употребил выражение из царской армии. Служил в пехоте, дрался с вами в четырнадцатом, генерала мы обыкновенно звали «ваше превосходительство».

— Что такое, Адам?

Адам объяснил.

— Хорошо, пусть говорит. Пусть говорит все, что хочет.

— Слушаюсь, эччеленца. Господин Скворцов, продолжайте.

— Да какой же я господин? — рассмеялся старик. — Сроду им не был. Господами у нас заводчики были, да и тех прогнали. Я Скворцов, товарищ Скворцов. Только не вам товарищ, как уже сказано. Другой статьи вы люди, вот почему. Да если б я узнал, что сын мой загнал безвинную женщину в бункер, руки ей назад заломил, груди вырезал и прочие надругательства совершил, я бы задушил его собственными руками. А деток? Деточек зачем губили? Для чего деточек-то умучивать? — Старик повысил голос и вдруг замолк. — Не пристрелит он меня за такие выражения?

— Нет, — заверил его Адам. — Не беспокойся.

— И на том спасибо. Только скажи ты ему, своему генералу: не только перед людями придется ему держать ответ за умученных деточек и безвинных женщин, но и перед богом, если таковой, как доказывают попы, существует. И скажи еще: не хватит у вас рабочей силы, хоть со всех краев ее сгоните, и лопат не хватит, чтобы выкопать ямки для всей России. Много нас, очень нас много, господин немецкий генерал. Всех в ямку не утрамбовать.

Генерал-полковник молчал. В бога он не слишком верил: существует он или не существует, как сказал этот старик, кто ж знает? Ответ перед людьми — вот что его страшило.

— Я хочу посмотреть ямы, — сказал он Адаму.

— Не стоит, эччеленца.

— Я пойду к этим ямам. Молчать! — гаркнул генерал-полковник.

Старик вздрогнул от бешеного крика немца, но, поняв, что это не относится к нему, не спеша свернул еще цигарку.

— Извините, Адам, нервы, — пробормотал генерал-полковник. — Вызовите людей с лопатами, пусть вскроют ямы, которые покажет старик. Приказываю, чтобы штан-

дартенфюрер СС и начальник эйзацкоманде присутствовали при вскрытии ям.

— Разрешите доложить, эччеленца. Начальник эйзацкоманде был найден повешенным месяца два назад. Повесили его, разумеется, русские. Начальство над эйзацкоманде из-за нехватки людей принял на себя штандартенфюрер СС, комендант города.

— Тем лучше. Тем лучше, черт побери! Итак, скажите старику, чтобы он проводил меня, вас, Шмидта и людей с лопатами к любой яме.

— В городе идет бой, эччеленца, — еще раз попытался Адам отговорить шефа от опасного путешествия.

— Это не имеет значения. Переведите старику мое желание. И скажите ему, что я готов к ответу перед богом и людьми, если то, что он говорит, правда.

Адам перевел.

Старик усмехнулся:

— Не завидую, ох, не завидую.

15. ЯМКА

Шел двенадцатый час. Снег перестал идти. Грохотали пушки, и выли мины, взрывая снег и сея смерть.

Советские наблюдатели заметили офицеров, идущих гуськом, обходивших бомбовые воронки, развалины домов и перебиравшихся через согнутые трамвайные рельсы. По квадрату, отмеченному наблюдателями, открыли огонь.

Генерал-полковник шел за стариком. Позади шагали комендант и Адам, потом — мрачный, втянувший голову в плечи Шмидт, Хайн и восемь саперов с лопатами и кирками. Все «кланялись» несущимся пулям или бросались наземь, когда снаряд взрывался близко.

Только генерал-полковник шел, выпрямившись во весь рост и нахлобучив мохнатую шапку на уши.

Он молил бога прикончить его снарядом, пулей или миной, но бог, если он «существовал», выражаясь языком старика, очевидно, вознамерился на этот раз проявить мудрую справедливость, заставив генерала сначала предстать перед людьми и перед ними держать ответ.

Снаряды и мины неслись и рвались кругом. Один сапер, схватившись за живот, упал, дико визжа. Генерал-полковник не обернулся. Он шел вперед, а смерть обходила его стороной.

Старик, равнодушный к смерчу, свирепствовавшему вокруг, шлепал по снегу, с легкостью перепрыгивая через груды кирпича. Пули, цокавшие о замерзшие трупы солдат, осколки мин, разрезавшие воздух со злобным шипением, рвущиеся снаряды, вздымающие тучи снежной пыли, казалось, забавляли его. Он посмеивался в бороду и время от времени останавливался, чтобы выбить из кремня искру и закурить.

Минут через пятьдесят старик повернул в тупик, заваленный остатками кирпичного здания. В глубине двора он остановился и показал на кучу щебня.

— Вот тут ямка.

Генерал-полковник, прислонившись к полуразрушенной стене, пропустил мимо себя штандартенфюрера СС, Адама, сумрачного Шмидта, беззаботно посвистывавшего Хайна и саперов.

— Рыть! — приказал он.

Старик отошел от груды щебня и стал рядом с генерал-полковником. Тот вынул две сигары — одну передал старику. Скворцов недоуменно повертел ее в руках. Генерал-полковник надкусил кончик сигары. Старик сделал то же. Паулюс поднес ему зажигалку. Старик прикурил. То же сделал генерал-полковник.

Хайн, попыхивая сигаретой, стоял рядом с командующим. Адам на противоположной стороне ямы вполголоса переговаривался со Шмидтом. Комендант присел на упавшую часть стены и, повесив голову, молчал. Он не глядел на саперов, которые били кирками смерзшуюся землю, выворачивая глыбы ее и отбрасывая в сторону щебень.

Яма оказалась большой — пока ее вскрыли, прошло не меньше часа. Канонада не прекращалась.

— Похоже, что на этот раз они действительно готовятся к атаке, — сказал, ни к кому не обращаясь, Паулюс.

— Скорей бы, — догадавшись, о чем идет речь, со вздохом проговорил старик.

— Готово! — Один из саперов бросил кирку, отошел от ямы, сел и закурил. Остальные саперы присоединились к нему.

Генерал-полковник с трудом оторвался от стены. Ноги казались ему непомерно тяжелыми, внутри все сжалось, сердце бешено колотилось: он знал, что увидит в яме.

Трупы лежали вперемешку, навалом, — мужские, жен-

ские и детские. Руки трех женщин были заломлены назад и перекручены проволокой.

Вот женщина, распластавшись и раскинув руки, лежит устремив глаза к небесам, словно моля их об отмщении, а рядом, прижавшись к ней, синеватое тельце годовалого ребенка с размозженным черепом и ручонкой, крепко зажавшей клок материнских волос.

К яме подошел Хайн и, поглядев вниз, свистнул. Генерал-полковник закатил ему пощечину и яростным шепотом добавил:

— Завтра утром — в штрафную роту! Распорядитесь, Адам.

Хайн, схватившись за щеку, охнул. Удовлетворенно хрюкнул стоявший на противоположном краю ямы Шмидт. Старик не подошел к яме — сколько видел он их! Сколько ям пришлось рыть ему и хоронить убитых или повешенных в комендатуре! Вон тот толстый сукин сын выгонял старика из землянки, совал ему в руки кирку, вел куда-то и приказывал рыть. Однажды кто-то из тех, кого послали рыть ямы, сказал, косясь на коменданта:

— Скотина.

— Скотина? Да разве скот позволит себе такое, что делает этот сукин сын, — ответил тогда старик.

Командующий, вспомнив, что здесь присутствует свидетель его справедливости, медленно снял шапку и постоял несколько минут молча над ямой.

— Сколько там людей? — спросил он потом.

— Кто же знает, эччеленца?

— Должен знать штандартенфюрер СС. Комендант, подойдите!

Комендант, помедлив, поднялся и подошел к командующему, лицо которого застыло, как лица трупов, что были там, в яме.

— Сколько их в яме?

— Н-не знаю. — Дрожь проняла коменданта от мертвенного взгляда генерал-полковника.

— Но ведь вы убивали, вешали и терзали этих людей и детей, мерзавец! — во всю силу легких выкрикнул генерал-полковник. — Переведите старику, Адам! Вот этот губил невинных русских людей, и он понесет ответ.

Адам перевел. Старик усмехнулся.

— Да все вы виноваты, — отмахнулся он. — Что этот, что тот. Один в одного.

Этих слов Адам не перевел. Он не хотел вконец портить настроение шефу.

— Рыть глубже, что ли? — недовольно буркнул один из саперов, берясь за кирку.

— Не надо, — остановил его Шмидт.

— Сколько здесь? — повторил генерал-полковник голосом ровным и скучным.

— С полтыщи наберется, — сказал старик.

— Что он говорит, Адам?

— Около пятисот человек, эччеленца.

— Прошу вас ответить, господин штандартенфюрер, сколько тут евреев, коммунистов и комиссаров? Быть может, эта женщина — комиссар? Или вот тот ребенок был коммунистом?

Комендант молчал.

— Хайн, маузер!

Хайн трясущимися руками вытащил маузер из кобуры и передал генерал-полковнику.

— Адам! Когда этот человек будет мертв, вы поставите его труп в центре города, на шею повесите извещение, что он расстрелян за злодейскую расправу над мирными русскими людьми.

— Слушаюсь, эччеленца. — Голос Адама сорвался.

— Господин... генерал-полковник... — начал Шмидт.

— Молчать, — сквозь зубы проговорил генерал-полковник. — Комендант, что бы вы хотели сказать на краю могилы?

— Что вы ответите за мою смерть. Что вы р-разделите со мной ответ на том свете, в-вернее всего, перед сатаной. Что я с радостью прыгну в эту яму, будучи счастливым, что на м-моей душе по м-меньшей мере д-двести тысяч душ этой падали.

Генерал-полковник сказал:

— Стойте прямо и глядите мне в глаза. Я хочу видеть, как умеют умирать лучшие люди германской расы. И когда ваша душа, комендант, если, разумеется, она есть у вас, вознесется к сатане, скажите ему, что вы достойны занять первенствующее положение среди самых отъявленных негодяев, попавших в ад.

Генерал-полковник поднял маузер. Штандартенфюрер СС закрыл лицо ладонями. Сквозь пальцы струился пот. Шмидт, Хайн и Адам отвернулись. Саперы курили. Попы-

хивал сигарой старик. Грохали и грохали орудия и несли из-за Волги смерть и разрушения.

«Кого я хочу убить? — молнией пронеслась мысль в голове генерал-полковника. — И зачем мне убивать его? Мертвые молчат. А этот должен жить, попасть к русским в плен, уж об этом-то я позабочусь... И пусть там ответит за эти ямы!»

Выстрела, ожидаемого всеми, не последовало: Паулюс опустил маузер.

— Нет, — заговорил он. — Нет, для вас это будет слишком легкий расчет. Сначала вы дадите ответ людям, комендант. Адам! Скажите старику, что этот человек, — командующий кивнул в сторону коменданта, рухнувшего на насыпь у ямы, — достоин лютой казни. Да, я приказывал и приказываю убивать вооруженных русских, равно как и они убивали и убивают нас. Но я не приказывал пытать, вешать и стрелять мирных людей. Однако я не могу молить бога и людей простить мои прегрешения, совершенные ведением или неведением, — продолжал генерал-полковник. — Я должен был знать, что делается рядом со мной и за моей спиной. Я не знал, точнее, знал не все. Итак, если мне не суждена смерть от русской пули или бомбы, я и этот мерзавец и еще кое-кто из стоящих рядом со мной ответят перед судом людей. Это слабое утешение для старика, потерявшего сыновей, но чем иным я могу помочь его горю?

Адам переводил. Старик долго молчал, потом сказал:

— Эх вы! Слабоваты у вас кишки. И слушать ваши слова, господин немецкий генерал, мне было противно до невозможности. Не о том бы вам говорить, что вы наших зазря вешали и пытали, а о том, зачем ворвались, ровно бандиты, на нашу землю. Чем мы вам навредили? Может, войну затевали с вами? Может, хотели разорять ваши города и жечь села? И вот что я выскажу вам напоследок. Не знаю, как с вами обойдутся после войны. Наш народ душой отходчив, но уже если взлютует, тут ему все нипочем.

Адам монотонно переводил слова старика.

Командующий слушал, упершись глазами в землю. Хайн вздыхал. Шмидт сидел, насупившись. Намек генерал-полковника на «стоящих рядом» озадачил его. Попрежнему молча курили саперы, а штандартенфюрер СС как упал на насыпь, так и лежал без движения.

Хмурые небеса нахохлились над городом. Шел реденький снег. Канонада сотрясала воздух, в ушах рвалось, пахло гарью.

— Так что прощайте пока! — Старик выплюнул сигару и неторопливо ушел.

Отдав маузер Хайну, поплелся к себе и Паулюс. В молчании следовали за ним Адам и Хайн, с ужасом думавший о штрафной роте.

Командующий вышел на площадь с фонтаном. Его окружали детские фигуры из гипса. Снаряды оторвали им головы. Этот безголовый детский хоровод напомнил генерал-полковнику ямку.

Его стошнило.

16. ХАЙН ОСВАИВАЕТ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

Утром следующего дня Хайна на десять суток отправили в штрафную роту. Три преступления вменили ему в вину: украденного гуся и лживое сообщение о том, якобы гусь отнесен раненым; издевательство над трупами русских замученных людей; непристойные выражения в адрес Шмидта.

Генерал-полковник уже жалел о невзначай выскочивших словах, но Шмидт был непреклонен: «Этот негодяй совсем зарвался. Ваше заступничество для меня оскорбительно».

Хайн попал под действие приказа о штрафных частях: «Наказание отбывается непосредственно на передовой линии. Отбытие наказания состоит в исполнении самых трудных или опасных работ, как-то: разминирование участков, захоронение трупов, постройка гатей через болота и прочее под огнем противника...»

Хайну дали лопату и зачислили в группу могильщиков. Кроме него, в той же группе были еще три солдата — Вейстерберг, Вагнер и Кирш. Командовал ими ефрейтор Грольман, тоже штрафной.

При знакомстве Хайн осведомился у Кирша, за что его угнали в штрафники. Кирш, заикаясь — он был заикой с рождения, —сказал, что попал сюда за ругань в адрес ефрейтора Грольмана. Ефрейтор, разъярившись, приписал Киршу пораженчество. Что касается маленького, тщедушного Вагнера, этот, напротив, пострадал за излишнее пресмыкательство перед ефрейтором Грольманом: дабы по-

пасть к нему в милость, он украл у офицера сапоги для ефрейтора, окорок, предназначенный командиру полка, и ящик вина, приготовленного к Новому году командиру дивизии.

Сам ефрейтор попал в штрафную роту, во-первых, за укрывательство пораженца, во-вторых, за соучастие в краже продуктов, имевших иное назначение.

Долговязый, молчаливый, укутанный в тряпье Вейстерберг собирался бежать к русским, но был пойман. Так как он отличился в битве под Москвой, вместо расстрела его направили в штрафную роту.

Эти пятеро внешне ничем друг от друга не отличались, разве кроме Хайна, который носил более теплую одежду. Одинаковые шинели, одинаковые серые, изможденные лица, одинаковые струпья на руках от мороза, одинаковая походка — медленная, оттого что ноги у трех солдат были обморожены, ленивая, потому что спешить было некуда. Они брели ссутулясь — ноша их была страшно тяжелая.

Сначала Хайну показалось что ему не вырыть и самой дрянной ямки — земля промерзла и лопата лишь звенела, касаясь ее, скреблась о ледяную корку и вовсе не желала идти вглубь, как Хайн ни нажимал на нее. Однако два-три удара шомполом — ефрейтор был здоровенный малый и злость срывал на своих подчиненных — быстро придали рукам Хайна необыкновенное проворство, а мускулам силу. Русская земля почти перестала сопротивляться немецкой лопате.

Яму рыли длинную и глубокую: метров двенадцать в квадрате и семь метров в глубину. На это ушел почти весь день. Конечно, можно было бы вырыть скорее, но русская артиллерия то и дело посылала немецким могильщикам подарки в виде снарядов, рвущихся вокруг ямы. Тогда всем пятерым приходилось прыгать в нее и лежать неподвижно, как тем, для кого яма готовилась. А готовилась она для тех, кто еще продолжал бессмысленную бойню в городе, грохочущем орудийной канонадой. Там еще что-то горело, хотя казалось, что гореть уже ничего не могло...

Хайн считал свое пребывание среди штрафников плодом недоразумения. Конечно, Шмидту не терпелось упечь его за ту девку из Ганновера. Хайн поклялся в душе упечь генерала при случае. Что касается его сви-

ста у ямки, то свистнул он, ей-богу, от ужаса. Он вовсе не собирался издеваться над теми, кто лежал там. Таким образом, кругом обелив себя, Хайн, не захотел иметь дела ни с тем, кто собирался бежать к русским, ни с пораженцем. В пару себе Хайн выбрал вора Вагнера. В конце концов, рассуждал он, офицеры не подохли бы без сапог, вина и окорока. А ефрейтор клялся, что сапоги действительно предназначались ему; что же касается жратвы и выпивки, он поделился бы со своими солдатами, почти подыхающими с голоду.

— Мы голодаем, а они с жиру бесятся! — ворчал ефрейтор, имея в виду офицеров, разумеется.

Вагнер соглашался с ним. Пораженец Кирш и дезертир Вейстерберг молчали. Они вообще молчали и делали исправно свое дело, потому что ефрейторский шомпол то и дело гулял по их спинам.

Вокруг ямы был фронт. Фронт был везде, и везде были русские. Солдаты не высовывали голов из промерзших траншей и дотов. Но могильщики должны были работать днем: на то они и штрафники.

Вор Вагнер сказал Хайну, что русские не щадят и могильщиков, — теперешняя группа чуть ли не восьмая за месяц. Предыдущие легли рядом с теми, кого они хоронили.

Кормили могильщиков раз в день, вечером, — это был суп с плавающими перьями лука и кусочек хлеба. Из чего он был испечен, Хайн так и не додумался. Он вспоминал гуся и глотал слюни. Впрочем, аппетит у него начисто пропал после того, как яма была готова и вступили в дело носилки.

Нервная дрожь пробрала Хайна, когда он подошел к громадной куче того, что некогда называлось людьми. Он оцепенел: холод, тоже нервный, проник до последней клетки; в глазах у Хайна помутилось, он чуть не упал в обморок. Но ефрейтор Грольман вытянул его шомполом, и липкий пот, выступивший на спине и на лбу Хайна, мгновенно высох.

Не глядя на трупы, он валил их на носилки. Здесь были безголовые и безногие. С вывороченными кишками. С разбитыми лицами. С перебитыми спинными хребтами. Просто ноги. Просто руки с пальцами скрюченными или оторванными. Это все, что осталось от того, что когда-то в муках родилось, шалило, ради чего-то училось, подава-

ло, быть может, надежды, влюблялось, размножалось, вламывалось в чужие страны, стреляло, расстреливало, жгло, грабило, издевалось...

И вот здесь их настигло возмездие. Суд над ними совершило не божественное провидение, в которое многие из них верили, а гнев народа, проклявшего взломщиков на веки вечные.

Нет, русская земля не стала для них пухом! Какой уж там пух, если их валили на бесформенные, смерзлые комья глины: могильщикам было не до того, чтобы готовить мягкую постель бывшим товарищам по оружию, вероломству и людоедству.

У могильщиков была жесткая норма: за день они должны уложить в ямы двадцать кубометров смерзшегося, бесформенного, окровавленного человеческого мяса. Ради этих двадцати кубометров они молча шагали взад-вперед; возвращаясь с очередной ношей, молча вытирали пот. Ефрейтор отмечал что-то в записной книжке, шарил в карманах шинелей или того, что осталось от одежды, извлекал содержимое: часы, перочинные ножи, номерные знаки, бумажники с крадеными деньгами, краденые кольца и браслеты, женские чулки и выбитые у мертвых русских золотые зубы, письма от родных... Потом он жестом приказывал поднимать носилки. И в яму с грохотом летели солдаты фюрера. Их утрамбовывали ногами — ради экономии места.

Чем крепче день ото дня прохватывали морозы, чем суровее и безжалостнее выли степные ветры приволжской равнины, тем тяжелее казалось каждое убитое или растерзанное минами человеческое существо, тем труднее становилась работа. Хайн просто не знал, что делать с этими страшными полусидячими, тяжелыми, как булыжник, мертвецами, как выгоднее их устроить в яме, чтобы они не занимали слишком много места...

После каждых пяти кубометров им разрешался отдых.

Ефрейтор снисходительно развлекал подчиненных, читая выдержки из писем, найденных в карманах убитых своих собратьев.

Вор Вагнер и Хайн давились от смеха, слушая письма добрых немецких мамаш. Они советовали Гансам и Карлам прежде всего беречь себя от простуды, подробно писали, какие стельки, положенные в сапоги, вернее всего спасут их любимых деток от гриппа и осложнений, каким

салом надо смазывать кожу ботинок, чтобы она была помягче, во-первых, и не пропускала воды, во-вторых. Жены просили мужей привезти чего-нибудь из теплой одежды, а заодно упрашивали не рваться в бой, не высовывать головы из окопов, предупреждая мужей, что русские больше всего обожают стрелять именно в головы... Невесты целовали женихов в губы, которые никогда не раскроются. Друзья жали руки, которые были у них оторваны. Любовницы взывали к сердцам, простреленным насквозь, и уверяли в нежной любви тех, кто с выпученными глазами, словно бревно, скатывался в яму...

Там, в Германии, ждали их возвращения: ждали к сентябрю, ибо фюрер заверил немецкий народ, что к этому времени он разделается с большевиками, ждали к рождеству, ждали к Новому году...

Дети сообщали своим отцам, глядевшим мертвыми глазами в сумрачное небо России, о школьных успехах. Они мечтали быть похожими на отцов, они стремились в армию фюрера, где «так весело живется,—писал какой-то Иоганн из Гамбурга,— и так красиво горят русские села...»

По вечерам ефрейтор предавался лирическим воспоминаниям. Попивая где-то добытое вором Вагнером дрянненькое, суррогатное пиво, закусывая объедками, обнаруженными в карманах тех, кто не успел доесть кусок хлеба или мерзлой конины, пыхтя сигаретой, полученной тем же путем, Грольман разглагольствовал на патриотические темы. Пораженец Кирш и дезертир Вейстерберг большей частью молчали, а вор Вагнер, как наиболее приближенный к особе Грольмана, иногда отваживался вставлять критические замечания.

Хайн — ефрейтор начал реже избивать его шомполом, догадавшись, что ординарец командующего может в будущем быть очень полезным ему,— не преступая пределы дисциплины, тоже оспаривал некоторые выводы ефрейтора. Например, Грольман очень любил распространяться о том, что историки этой войны непременно поставят Верден и город на Волге рядом.

— Как там отчаянно дрались французы в прошлую войну, так и здесь мы деремся, подобно древним германцам.

— А не кажется ли вам, господин ефрейтор,— пропищал однажды вор Вагнер, — что сражение на Волге немного затянулось? С Францией мы управились за сорок

четыре дня. Подсчитайте, сколько мы возимся с этим городом.

— Да, это несколько портит мне настроение,— согласился ефрейтор.

— А вам не портит настроение, господин ефрейтор, то, что мы, пожалуй, вообще не выскочим из этого города? — спросил Хайн.

— Фюрер нас не оставит! — сказал торжественно вор Вагнер.— Он поклялся выручить нас.

Дезертир и пораженец вздохнули одновременно. Ефрейтор бросил на них свирепый взгляд.

— Все дело в том, что мы были слишком снисходительны к русским,— заговорил он, обходя стороной щепетильный вопрос о клятвах фюрера.— Да, мы слишком мягко с ними обходились. Я, например, бил только тех русских пленных, на которых были более или менее толстые шинели. Кроме того, не стоило связываться с румынами. Я ненавижу их. Они почти сплошь нечисты на руку...

Вор Вагнер смущенно кашлянул. Ефрейтор дружески похлопал его по спине.

— Я далек от намеков,— любовно заметил он.— Ты, Вагнер, не вор. Ты добрый немец. Ты справедливый немец. Ты хотел, чтобы еда доставалась не только тем, кто устроился в теплых блиндажах. Правда, и еда им не впрок. У всех поносы от страха.

— Ха-ха! — разразился вор Вагнер.

— Ха-ха! — мрачно вторили пораженец и дезертир.

— Вранье,— вызывающе заговорил Хайн. — Мой шеф...

— Помолчал бы ты о своем шефе! Хоть я и очень уважаю нашего командующего, но ему-то что? Он не знает солдатских забот.

Все могильщики — кроме Хайна, конечно, — энергично замотали головами.

— И дома у него все в порядке. Семья живет припеваючи на генеральских харчах. А здесь у нас каждая сигарета на вес золота. — Ефрейтор выкурил сигарету до половины и передал ее своему любимцу. Вор Вагнер, сделав две-три затяжки, счел долгом передать окурок пораженцу, а тот, тоже затянувшись несколько раз, отдал остатки дезертиру. Хайну ничего не досталось.

— Я вообще ничего не понимаю, — вдруг заговорил заика Кирш, быть может, вдохновленный тремя затяжка-

ми табака. — Когда поразмыслишь об этой войне, скажешь себе, что она ведется кровью бедняков для наживы богачей. Не знаю, что принесет эта война лично мне, если я спасусь и уйду отсюда со шкурой без дырок?

— Ты бы получил жирный кусок земли. Жирную русскую землю,— нравоучительно заметил ефрейтор.— Кроме того, пожалуйста, заткни свое хайло и не пропагандируй пораженчество.

Вор Вагнер сладострастно зацокал языком.

— Да, было бы неплохо получить здесь гектаров сто земли. Когда мы копаем могилы, когда я вижу этот толстый слой чернозема, так и хочется взять плуг и пройтись по нему.

— Ты найдешь здесь для себя добрый кусок земли, — процедил долговязый Вейстерберг. — Все найдем!

Грохот артиллерии заставил их замолчать. Они прыгнули в свежую, еще не заполненную яму, долго лежали там, прижавшись к комьям глины. Снаряды рвались, вздымая облака мерзлой пыли. Наконец русским надоело стрелять и все замолкло.

— Черт! — отплевывая землю, прохрипел ефрейтор. — От огня русских можно сойти с ума.

Они выбрались наверх, стряхнули землю с одежды, снова сели в кружок. Вечер был теплый, чуть веяло ветерком.

— Хайн,— отдышавшись, сказал ефрейтор.— Правда ли, будто вышел приказ расстреливать всех русских пленных?

— А что с ними делать? Кормить-то их нечем.

Помолчали. Вздохнув, ефрейтор сказал:

— Они какие-то странные, эти русские. Однажды я присутствовал на допросе пленного русского сержанта. Его уговаривали назвать номер своей части. Подозревали, что он из свежей дивизии, только что прибывшей на позиции. Он молчал. Его очень здорово лупили, а он молчал. Признаться, я рассердился и утопил его. Поблизости было болото. Я держал его в воде до тех пор, пока он не испустил дух. Очень упрямый народ. Впрочем, я вытащил его на сушу и похоронил. Все-таки человек.

— Да, конечно, — лениво отозвался вор Вагнер. — У них такие же руки и ноги, как у нас. Но они дикари.

И пусть меня черт поберет, если я понимаю, как это ты, Вейстерберг, решился перебежать к ним.

Мрачный Вейстерберг сказал, что он дошел до отчаяния. Дошел до отчаяния от голода, холода и беспросветности, только и всего.

— Да, иногда мысли у нас путаются, это верно, — свысока заметил ефрейтор. — Вот, например, я. У меня тоже свои сложности. Моя невеста Лизолотта — католичка. Она не признает некоторых идей национал-социализма. Мы спорили с ней иной раз чуть не до разрыва. Споры продолжались до начала войны. Я так и не успел на ней жениться. Уж и не знаю, что я буду делать, вернувшись домой: женюсь на ней или нет. Иметь в доме врага фюрера? Хм!

— Да, трудное у вас положение, господин ефрейтор, — заискивающе сказал вор Вагнер.

— На вашем месте я послал бы ее ко всем чертям, — выкрикнул Кирш: ему так хотелось снять с себя клеймо пораженца!

— Не знаю, не знаю, — глубокомысленно проговорил ефрейтор, качая головой.

Поговорив, они продолжали работать, молча и сосредоточенно таская в ямы мертвецов, копая новые ямы, прячась от огня русских, проклиная все на свете, страдая от зверского ветра, от несварения желудка, потому что ели, что подвернется под руку, немытые, обовшивевшие, с серыми, истомленными лицами, похожими на лица тех, кого они валили и валили на дно ямы...

17. ПЕРЕД КОНЦОМ

— Перестаньте морочить мне голову, Шмидт! — с презрительной гримасой бросил генерал от артиллерии, командир пятьдесят первого корпуса Вальтер Зейдлиц, пожалуй единственный офицер, сохранивший здравый смысл, давно потерянный офицерами армии. — Мне надоели ваши моральные наставления. Я не мальчик в коротких штанишках, черт побери, и не мне слушать ваши прописные истины. В нашем положении возможны только два решения: или Брежно, когда войска генерала Лицмана, окруженные под Лодзью, — это было, если не ошибаюсь, в феврале тысяча девятьсот пятнадцатого го-

да — вырвались из котла, подобно нашему... или же нам предстоят Канны. Ничего другого быть не может.

— Да, да, я читал преступную докладную записку, составленную вашим начальником штаба полковником Клазиусом от двадцать четвертого ноября, когда вы, конечно, рукой Клазиуса писали, что необходимо, вопреки приказу фюрера, подчиняясь только чувству ответственности перед немецким народом, вырваться из котла. Этот протест, к счастью, не был поддержан остальными корпусными командирами, господин генерал. К счастью, ваши мысли оказались противными тем, кто предан фюреру. — Эти слова в бешенстве, заикаясь и делая прыжки по комнате, не выговаривал, а скорее, выплевывал Шмидт.

— К счастью? — взорвался Зейдлиц. — Вы слышали, Адам, что он сказал?

— Пожалуйста, потише, — остановил его Адам. — Командующий спит. Он плохо себя чувствует.

— Какая заботливая нянька вышла бы из вас, полковник Адам! — зло заметил Шмидт.

Разговор шел в приемной. Зейдлиц сидел верхом на парте. Шмидт бегал в раздражении по комнате, где было темно и пахло плесенью, а Адам стоял, вжавшись в угол.

— За ту докладную записку, — продолжал рычать Шмидт, — командующий приказал снять Клазиуса и назначил его командиром полка. Пусть он кровью искупит свою и вашу вину перед фюрером. Да, да, кровью!

— Мою вину! — Зейдлиц вздохнул.

— Между тем вся ваша вина, господин генерал, только в том, что вы здраво рассуждаете, — лениво вымолвил Адам. И добавил: — Если бы мы отказались от слепой веры в одного человека, если бы не следовали так упрямо догме, все бы могло быть иначе. Слушайте, — оживился он, — армия получила новогоднюю телеграмму фюрера, в которой он сказал, что мы всецело можем положиться на него. Прошло восемь дней... Что изменилось в нашем положении? Только то, что оно стало еще более невыносимым. Для каждого трезво думающего солдата не осталось и тени сомнения в том, сколько может выдержать армия. Фюрер сказал: «Держаться еще несколько месяцев!» Шутит он или это серьезно?

Все молчали. Даже Шмидт не нашел ответа.

— А как выглядит, — продолжал Адам, — так называемая борьба до последнего патрона, на которой настаивает фюрер? Очень просто, сидя в теплом кабинете в двух тысячах километров отсюда, рассуждать о последнем патроне. Но судить об этом может только тот, кто переживает, как правильно сказал в своем протесте генерал Зейдлиц, «Березину в квадрате».

— Что ж, по-вашему, надо делать? — вызывающе начал Шмидт.

— Очень просто. Начать переговоры с русскими о сдаче. Уверяю вас, с точки зрения солдатской чести, это наилучший выход. Вид наших солдат, превратившихся в беспомощные, жалкие тени, не ослабил бы у русских чувство уважения к ним. Напротив, они бы увидели в этом проявление здравого смысла, и только.

Зейдлиц энергично кивнул.

— И скажу еще, — продолжал Адам, не желая замечать брезгливой мины на лице Шмидта. — При более или менее организованной сдаче русские, несомненно, имели бы возможность наладить регулярное снабжение массы пленных. Кстати, это было бы только к выгоде нашей родины: в живых остались бы десятки тысяч мужчин зрелого возраста. Но смогут ли русские сделать то же самое, когда все окончится здесь, окончится в полном хаосе и при почти полном разложении армии? Смогут ли они вернуть к жизни окончательно истощенных и обескровленных солдат, голодающих больше двух месяцев? Не знаю! Нет, нельзя преступно допускать гибель армии, сражавшейся столько дней в этом аду.

— Вы правы, Адам, вы так правы! — сумрачно заговорил Зейдлиц. — Нет, господин генерал, снимите вы моего начальника штаба или нет, положение от этого не изменится. Нельзя было с самого начала идти наобум, не имея солидных резервов и обеспеченных флангов. Русские разгромили румын, итальянцев... Мы вот-вот потеряем последний аэродром и лишимся даже того мизерного рациона, которым располагаем сейчас. Чего нам ждать?

— Смерти, — мрачно обронил Адам. — Операция Манштейна провалилась. Наши отходят с Кавказа... Может, вы видите выход, генерал? — Это было обращено к Шмидту.

— Да, я его вижу.

— Так поделитесь с нами, — с холодным смешком сказал Зейдлиц.

— Выполнять приказ фюрера: драться до последнего патрона.

— То есть обречь себя на верную гибель ради престижа одного человека? — усмехнулся Адам.

— Я не желаю слушать подобные речи, — прорычал Шмидт. — Вы недалеки от измены, господин полковник.

— Ш-ш! — Адам поднял палец.

— Последний патрон, последний патрон! — Зейдлиц гневно отбросил окурок. — Очень красиво говорить о нем за толстыми стенами. Но мы там, на фронте, гораздо ближе к смерти, господин генерал. Называйте слова Адама и мои, как вам вздумается, но я стою на своем: наше главное командование делает одну чудовищную ошибку за другой. Я уже сидел в валдайском котле зимой сорок второго года. Нас освободили через шесть недель после тяжелых, кровопролитных боев. Я сам командовал ударной группой. Это было, как сейчас помню, двадцать первого марта. При диком морозе я пошел в атаку южнее Старой Руссы. На своей шкуре я убедился, каково было вытащить из котла шесть дивизий. Я понимаю, как рассуждали в штабе верховного главнокомандующего: повезло с шестью дивизиями на Валдае, почему не повезет с двадцатью девятью, окруженными здесь.

— Верно, верно! — с жаром ввязался в разговор Адам. — Выведи фюрер нас из котла, опять бы шум на весь мир о его полководческом гении, о чуде, совершенном им!

— Что ж, — с напускным хладнокровием пробормотал Шмидт, — уж теперь у меня нет никаких сомнений в том, что оба вы изменники. И вы ответите за эти слова перед фюрером.

— Вряд ли мы его увидим, — с невеселым смешком сказал Адам.

— Фюрер, фюрер! — в бешенстве заговорил Зейдлиц. — Я уверен, черт побери, что недалеки те времена, когда миллион преступников, окружающих фюрера, чтобы обелить себя, все свалят на него.

— Вам остается только одно: сдаться русским.

— Да, это был бы самый разумный шаг в моей жизни, Шмидт, — сумрачно согласился Зейдлиц. — Но во мне еще сидит вовсе не нужное теперь чувство долга. Не перед фюрером, я отрекаюсь от него, слышите, Шмидт. Я солдат и, увы, привык к подчинению. Но если бы командующий сказал мне: «Вы свободны в своих действиях, Зейдлиц», я бы стянул с себя панталоны, ибо другой материи для белого флага у меня нет, и, прицепив их к палке, вышел бы к передовым позициям русских.

Адам, как ни тяжел был разговор, рассмеялся, представив генерала с развевающимися на палке подштанниками. Шмидт тоже фыркнул.

Зейдлиц слез с парты, размял плечи, прошелся по комнате.

— Долго будет спать командующий, Адам?

— Кто знает.

— А морозы все сильнее, — заметил Зейдлиц.

— Господи! Страшно представить, что только терпят солдаты там, — заметил, сурово нахмурившись, Адам.

— Да, да, холод ужасный, и я решил не бриться, — сказал Шмидт. — С бородой как-то теплее, вы не находите?

— Очередная оригинальность, — сквозь зубы процедил Адам. — Вам холодно! А каково тем, кто в блиндажах и траншеях?

— Они начинают потихоньку вылезать из своих нор и сдаваться, — заметил Зейдлиц. — Кстати, Адам, спросите командующего, что делать с русскими пленными. Мне нечем кормить их. Конина на исходе.

— Хорошо.

— Я принес подарок командующему. — Зейдлиц вынул из кармана продолговатую пачку.

— Что это? — спросил Шмидт.

— Печенье.

— Позвольте, позвольте! — заторопился Шмидт. Он вынул очки и принялся рассматривать пачку печенья. — Чье это изделие? Не французское ли?

— Нет. — Адам прочитал надпись на пачке. — Это русское. Как оно попало к вам?

— Адъютант нашел в блиндаже, покинутом русскими солдатами.

Шмидт вскрыл пачку, попробовал печенье.

— Прелесть, черт побери. Что-то с кофе или с какао. Однако, они мастера, эти русские!

— У русских вообще превосходная еда, — авторитетно заметил Адам. — Я как-то обедал у русского военного атташе в Берлине. Какие там были блюда, какая рыба!.. А водка!..

Шмидт зацокал языком. Русскую водку он пил не раз и находил, что лучше ее ничего из спиртного во всем мире нет.

Вошел офицер и что-то шепнул Шмидту на ухо. Тот вскочил, судорожно рванул дверь и выбежал в коридор.

— Что такое? — насторожился Адам.

— Может быть, какой-нибудь радиоперехват. — Зейдлиц прикурил от сигареты Адама. — Скажу по секрету, Адам, в армии началось повальное разложение. Только такие негодяи, как Шмидт, озабоченные спасением своей шкуры, не хотят замечать чудовищного упадка дисциплины в армии. Вчера вы слышали? Генерал Даниэльс сдал свою дивизию русским.

— Полно вам!

— Да, да, с дивизионным оркестром вышел на передний край, выкинул белый флаг и первым отдал русским оружие. Неужели это скрыли от командующего? Да, слушайте, мне рассказали историю с комендантом города... Жаль, что командующий не пристрелил его. Чем все это кончилось?

— Назначен новый комендант. На днях он получил приказ Гиммлера сжечь все трупы, а кости раздробить. Прислана специальная костедробильная машина. Это они посылают нам вместо еды.

— Все ямы не вскроешь, Адам, и все трупы не сожжешь. Тяжел будет ответ народа за все это. Мы восстановили против себя почти весь мир.

Шмидт бурей ворвался в приемную.

— Немедленно будите командующего, Адам! Русские предлагают нам почетную капитуляцию. — Руки Шмидта тряслись, тряслась листовка, которую он держал. — Вот это они сбрасывают с самолетов.

Адам торопливо вошел в комнату командующего.

— Хо-хо! — весело сказал Зейдлиц. — Пока мы думали-гадали о выходе из положения, его придумали за нас русские.

— Отстаньте! — окрысился Шмидт. — Впрочем, теперь у нас есть шанс...

— Спасти шкуры?

— ...Жизни тысяч солдат, с вашего разрешения.

— Полно притворяться, Шмидт! Много вы думаете о солдатах, покуривая сигары, попивая бразильский кофе и французский коньяк!

— Генералу надлежит быть там, где его часть, — с намеком прошипел Шмидт.

— Ничего, я еще успею попасть в свою часть к моменту капитуляции.

— Господи, — вдруг вырвалось у Шмидта, — хоть бы кто-нибудь из разумных людей посоветовал фюреру принять капитуляцию!

— Ага! — рассмеялся Зейдлиц. — И вас проняло?

— Прошу, — сказал Адам, появляясь в дверях.

Шмидт первым вбежал в кабинет командующего. Неторопливо прошел за ним Зейдлиц. Адам прикрыл дверь.

— Вот... Вот бумага! — глотая слова, прокричал Шмидт. — От командования русского фронта, от Рокоссовского!

Паулюс поморщился.

— Ну, это еще не предлог, чтобы кричать на весь подвал, Шмидт. — Он обернулся к Зейдлицу, протянул ему руку. — Спасибо за новогоднее шампанское.

— Я не мог прийти к вам, как обещал. Был болен, господин генерал-полковник.

— Бумагу, Шмидт.

Вооружившись очками, командующий сел за стол и начал читать листовку. Остальные стояли за его спиной в полном молчании.

Листовка читалась долго. Потом Паулюс, аккуратно сложив ее, отдал Шмидту.

— Они требуют безоговорочной капитуляции, гарантируют солдатам и офицерам сохранение жизни и сразу после окончания войны — возвращение в Германию. — Генерал-полковник помолчал. — Завтра, девятого января, в десять ноль-ноль, мы должны дать ответ. Если он будет отрицательным или если мы не пошлем парламентеров... Господа генералы, вы сами понимаете, что за этим последует.

— Стало быть, их разведке известно, в каком мы положении, — задумчиво сказал Зейдлиц.

— Нет, нет, вздор! Им просто очень важен этот узел железных дорог, — поспешно возразил Шмидт.

— Какая разница! — отмахнулся Адам.

— Большая, очень большая.

— Перестаньте! — остановил их командующий. Он сидел, устремив взгляд во двор. Долго он молчал, потом повернулся к Зейдлицу. — Вы верите их словам о том, что они озабочены обоюдным прекращением кровопролития?

— Почему бы и нет? Разве им не дорога жизнь каждого солдата, как и нам с вами, господин командующий?

— Это не в лесть вам, — начал генерал-полковник, — но я считаю вас, Зейдлиц, самым порядочным и самым благоразумным человеком из моих генералов. Как бы вы поступили на моем месте?

— Я бы употребил все красноречие, — с жаром отвечал Зейдлиц, — чтобы убедить фюрера в бесполезности сопротивления. Господин командующий, армия разлагается, люди сдаются в плен без всяких приказов, генерал Даниэльс сложил оружие и оголил фронт...

— Я не был осведомлен об этом. — Паулюс перевел суровый взгляд на Шмидта. — Почему мне не сообщили об этом?

— Даниэльс сдался с дивизией утром. Вы еще спали. Я не успел вам сказать, — Шмидт порозовел, ибо лгал.

— Скажу больше, — спрятав усмешку, продолжал Зейдлиц. — Если начнется наступление, оно будет жестоким: русские поставят целью как можно быстрее разделаться с нами, высвободить свои армии и усилить натиск на фронте, который и так уже трещит.

— Мы могли бы пробиться к своим, — задумчиво сказал генерал-полковник.

— Возможно. С громадными потерями и не без риска провала. Скажу еще: в первый же день наступления русские заберут последний аэродром, которым мы располагаем для получения продовольствия, хотя половину тех крох, которые мы получаем по воздуху, забирают русские. Они каждый день подбивают наши самолеты, они едят наш шоколад, пьют наш кофе и стреляют по нас из наших орудий и пулеметов. Господин коман-

дующий, голод налицо. Я хочу спросить, чем мне кормить военнопленных? У меня кончается конина.

— Сократите пленным рацион наполовину, — сказал Шмидт.

— То есть уморить их голодом?

— Пусть помирают русские, но не наши, так я думаю.

— Еще одно преступление, не так ли, Шмидт? — усмехнулся Зейдлиц. — Впрочем, их столько, что одним больше, одним меньше — какая разница! И прошу подумать о раненых, господин командующий. Медикаментов нет, врачи, не выдерживая ада, который они наблюдают в госпиталях, кончают самоубийством.

— Что, возможно, предстоит и нам, — глухо сказал Паулюс.

— Полно! — Шмидт задрожал от мысли, что в таком случае и ему придется пустить пулю в лоб. — Они не посмеют посягнуть на вашу жизнь, господин генерал-полковник.

— Вы уверены, что они не посягнут на жизнь и генерал-лейтенантов? — улыбнулся Адам.

— Итак, господа?

— Немедленная радиограмма фюреру, господин командующий.

— Да, Зейдлиц, только так.

— Я сейчас же... — Никогда еще не видели Шмидта таким прытким. — Пишите донесение фюреру, я вызову по радио ставку. — Он стремглав выскочил из комнаты.

— Он, оказывается, умеет бегать, — проворчал Адам.

— Садитесь, Адам, я буду диктовать. Зейдлиц, вы поможете мне. Боже, пошли мне слова, которые тронули бы сердце фюрера!

18. СЕРДЦЕ ФЮРЕРА

— Нет, нет и нет!

— Мой фюрер, примите во внимание...

— Мною все принято во внимание!

— Вы понимаете, мой фюрер, теперь, когда не может быть речи о деблокировании шестой армии, будет очень трудно объяснить народу причину ее гибели.

— Я не оставлю этого города на Волге!

— В таком случае, мы оставим там лишь громадное, чудовищно громадное кладбище.

— И что же? Когда воюешь с русскими, не может быть речи о сдаче в плен.

— Но плен — это жизнь двухсот тридцати тысяч немцев. Двухсот тридцати, мой фюрер, потому что шестая армия за месяц потеряла около ста тысяч солдат и офицеров. Убитыми, ранеными, обмороженными, самоубийцами, сдавшимися в плен.

— Сохранение чести важнее смерти.

— Но подумайте, мой фюрер, что за жизнь в котле.

— Я сам сидел в траншеях первой мировой войны и знаю, что это такое.

— Вы не были в окруженной армии. Мы обещали деблокировать ее — и не выполнили обещания. Обещали снабжать по воздуху — и не выполнили обещания.

— Виноват климат.

— Мы только в декабре потеряли семьсот транспортных самолетов, подбитых русскими. Они пригодились бы нам в Тунисе. В январе мы потеряли еще триста самолетов.

Молчание.

Фюрер в униформе СС бегал по комнате, словно зверь в клетке, пиная ногами стулья. Начальник штаба верховного главнокомандования Цейтцлер мрачно следил за нелепыми прыжками Гитлера. Может быть, ему действительно было тяжело думать о муках, которые переживали солдаты в котле, а может быть, он поставил целью спасти окруженную армию, чтобы потом стать героем нации. Возможно, им владели оба чувства. Как бы там ни было, он предпринял еще одну попытку воздействовать на верховного главнокомандующего.

— Мой фюрер, осталось ровно двенадцать часов для ответа русским. Я посоветовал бы вам поспать и со свежей головой принять решение.

— Свежая голова! — Фюрер фыркнул. — Поспать! Только я знаю, что думаю в бессонные ночи. Они полны кошмаров, но я гоню их, ибо судьба поставила меня в такое положение, когда разум должен диктовать сердцу, а не наоборот.

— Правильно, мой фюрер, — подхватил Цейтцлер. — Сказано гениально. Обратитесь за советом к своему разуму, если вы не хотите слушать мои советы, советы

фельдмаршала фон Манштейна и других генералов. Мы предупреждаем вас, мой фюрер: отклонение требований русского командования может оказать самое печальное и, я бы сказал, решающее влияние на дальнейший ход войны.

— Перестаньте! — рявкнул фюрер. — Это лишь частная операция, не имеющая никакого отношения к победоносному завершению войны. Ага! Я знаю планы русских. Им не терпится освободить город, этот важный узел коммуникаций. Мое предвидение гласит: русские запугивают нас. У них мало войск, им нужны, позарез нужны те, которые окружают шестую армию...

— Какая разница, мой фюрер, когда они высвободят свои армии. Теперь ясно: волжский узел коммуникаций будет в их руках — это вопрос недель, если не дней.

— Нет!

— Хорошо, мой фюрер, я начинаю проникаться величием вашей несокрушимой твердости.

— Пора бы. Давно бы пора!

— Вы правы: отклоним капитуляцию...

— Дальше, дальше!

— ...и предоставим командующему окруженной армии свободу действий.

Фюрер, как на пружине, повернулся к начальнику штаба.

— Вы хотите позолотить пилюлю? Свободу действий этому преступному генералу? Вы в своем уме, Цейтцлер?

— Мой фюрер...

— Я воспользуюсь вашим советом и пойду спать. Быть может, на этот раз мне удастся справиться с мучительной бессонницей. Кстати, вы знаете, бессонницей страдали Фридрих Великий и Наполеон... Странное совпадение, не правда ли? До свидания.

— Мой фюрер, я желаю, чтобы во сне ваше великое и любвеобильное сердце прониклось состраданием к окруженным солдатам, а разум подсказал вам мудрое решение.

...Фюрер спал, или притворялся спящим, десять часов.

19. ТИК-ТАК, ТИК-ТАК...

Утро. 9.55.

Тик-так, тик-так. Еще минута. Тик-так, тик-так. Еще минута.

Накинув шинель на плечи, генерал-полковник прислушивался к тиканию будильника. Часы стояли на тумбочке возле койки. Ход их отрегулирован так, чтобы тикание было не слишком назойливым и не мешало сосредоточенности.

Сейчас Паулюсу казалось, что будильник — огромная машина, а тикание — чудовищные удары молота. Удары оглушали его, они наполняли комнату. Только тикание и больше никаких звуков в мире не существовало для него в тот час.

Тик-так, тик-так. Еще минута.

Он ждет, но дверь не открывается, и Шмидт не врывается с ответом фюрера. Фюрер спит, чего, впрочем, генерал-полковник не знает. Он вообще ничего не знает: ни положения на фронте, ни того, что говорят русские.

Тик-так, тик-так. Еще минута.

Голова командующего раскалывалась от боли — всю ночь он ждал ответа ставки фюрера, а ответа не было. Он заставлял радистов проверять аппараты: быть может, какая-нибудь неисправность.

— Нет, все исправно, господин генерал-полковник, — докладывали ему.

Командующий возвращался к себе и шагал по комнате, пока усталость не усаживала его в кресло. Электрическая лампочка вспыхнула и погасла. Командующий сидел с взглядом, устремленным в ночной мрак. Тишина. Одиночество. Безысходность. Еще никогда он не был так одинок и никогда не ощущал так глубоко обреченности. Вещи, окружавшие его, сырая комната, неясные шорохи, отвратительное попискивание крыс, тяжелые шаги в коридоре, грохот выстрелов, звезды, мерцавшие в безмолвном небе, вой бурана за окном — весь этот концерт звуков, шорохов, воя и крысиного попискивания не раздражали его. Он чувствовал полное отупение.

Порой ему казалось, что он сам лишь нечто неосязаемое в этой страшной симфонии, призрак, бродящий по земле. Ярко, до боли в глазах, взорвавшаяся ракета

осветила двор универсального магазина, запорошенные снегом машины, солдата с автоматом, шагавшего взад-вперед. Ракета погасла где-то далеко, там, где, не стихая ни на минуту, шел бой.

«Скоро они ворвутся и в эту комнату, и тогда наступит конец кошмару, — думал Паулюс. — Может быть, это лучше, чем сидеть замурованным в гнусном подвале, в комнате с подтеками на стенах и промерзшими углами...»

Он досадливо потер давно не бритый подбородок, с ненавистью ощупал грязный мундир, залоснившийся воротник кителя, потускневший Железный крест, полученный за кампанию во Франции.

«Опустился, бог знает как опустился! И сутулиться стал все больше, все чаще дает знать мучительное подергивание левого глаза, руки становятся все тоньше, а жизнь короче с каждой минутой. С каждой минутой...»

Командующий вспомнил о будильнике. Тот продолжал тикать на тумбочке около кровати, узкой, неудобной, с нечистым бельем.

«Тик-так, тик-так» — отбивали часы. Еще минута, еще и еще...

Начиналось утро, солнечное, веселое январское утро. Генерал-полковник то бродил по комнате, то по коридору, то заходил в штаб Роске, то возвращался в оперативное управление.

Радисты... Их лица серы. Они тоже ждали ответа фюрера.

Его не ждали солдаты в траншеях: им ведь неизвестно, что русские предложили почетную капитуляцию. Они ничего не ждали. Они просто мерзли.

Вчера, прогуливаясь около универмага, Паулюс забрел в какой-то двор. Там он увидел стоящую вертикально ванну. Обыкновенную ванну, выкинутую из какого-то дома поблизости. В ванне по стойке «смирно» с автоматом, нахлобучив высокую барашковую шапку на лоб, стоял румынский солдат, маленький румынский солдат, которому ванна была как раз в рост.

«Зачем он здесь?» — подумал генерал-полковник и подошел поближе.

Солдат не шевельнулся и не отдал чести. Он был мертв. Румын замерз, скрывшись в ванне от пронизывающего ветра, от зверского холода последних дней. Он

хотел согреться. Теперь уж никакая сила в мире не могла отогреть его.

«Тик-так, тик-так, тик-так!» — грохотал будильник.

Часовая стрелка, словно бы нехотя, словно бы сопротивляясь тому ужасному и неотвратимому, что должно случиться, ползла к цифре «10».

Генерал-полковнику хотелось крикнуть, чтобы стрелки остановились, чтобы не пересекли роковую точку, чтобы замерло время. Хотя бы на час. Хотя бы на полчаса. Хотя бы на десять минут. Ведь и десяти минут достаточно, чтобы сообщить переднему краю о капитуляции.

Стрелка не останавливалась. И вот она на той страшной точке — и то страшное свершилось...

20. ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ

Они только что свалили в яму очередные трупы и присели отдохнуть. Был тихий, солнечный, морозный день. Начался он удачно: в шинелях мертвецов ефрейтор нашел целых три пачки сигарет. Две он взял себе. Третью отдал могильщикам.

Это случилось в шесть часов утра: еще было темно, когда они начали работать. Но когда везет, то уж везет! Пораженец и дезертир доставили богатую добычу: полкаравая хлеба в ранце солдата, убитого в тот момент, когда он жевал хлеб, — он так и застрял в его зубах. Кроме того, в том же ранце оказалась банка жирной баранины из Югославии. Могильщики пировали вовсю.

В девять часов пятьдесят пять минут, как заметил Хайн по часам, легкое облачко проплыло над степью и растаяло где-то далеко-далеко. Пролетел самолет русских, но бомбы не сбросил: просто летел куда-то.

Ефрейтор приказал начинать работу. Хайн и вор Вагнер взялись за носилки. И вдруг не стало ни носилок, ни Вагнера, ни ясного неба, ни тихого дня. Хайна что-то подбросило в воздух. Он перевернулся там и грохнулся на землю. Несколько минут он лежал оглушенный; оглушенный не своим полетом к небесам и не падением, а тем ужасным, не прекращающимся ни на секунду ревом, словно гигантское стадо каких-то допотопных чудовищ ревело в один голос.

Рев сопровождался ослепительными вспышками огня. Вокруг Хайна, направо и налево, впереди и сзади, бушевало, рвалось, слепило. Земля качалась под ним, летели какие-то бревна, комья земли, где-то кто-то что-то кричал, душераздирающие вопли неслись отовсюду. А Хайн лежал полуживой, полумертвый, ничего не соображая, видя лишь густой, сизый, опаленный кровавой подсветкой туман, расползавшийся над степью.

В этом тумане тоже грохало, возникали языки пламени, пахло гарью, свежей кровью, а дым, который Хайн принял за туман, становился все более густым. Он чернел, и в этой клокочущей черноте то и дело возникали кровавые пятна. Уже все видимое заволокло дымовой завесой: горизонт будто смыло, небо почернело, а отвесная, похожая на раскаленный утес, стена огня, изрыгаемого тысячами орудий, огнеметов и «катюш», сотрясала мир. Хайн видел, как побежали к батареям солдаты, как взревели орудия, но стоило им сделать два-три выстрела — и к небу полетели орудийные стволы, взрывная волна поднимала вверх то, что оставалось от солдат, бросала их наземь. Рвались неистраченные снаряды, сея смерть вокруг.

Смерть была везде и каким-то чудом щадила Хайна, оцепеневшего и лежавшего на краю насыпи у ямы.

Он не видел, куда девались ефрейтор и три могильщика. Он не знал, где носилки и лопаты.

Облака пыли, пронизанные буро-багровым светом, то вздымались вверх, то опадали. На телефонных столбах висели куски проволочных заграждений. Лошадь, визжа, барахталась в пяти метрах от Хайна, она силилась подняться, но у нее были отрублены ноги — словно срезаны ножом до колен.

В густом дыму появились тени, они мчались куда-то, стреляли, надрывая глотки, орали «Хайль Гитлер». Но вот из клокотавшей дымовой гущи сверкнуло, рвануло — и от взвода остался только один солдат. Он волчком крутился вокруг себя, потом упал, его подняло вверх, перевернуло и отбросило куда-то...

Раздался еще один оглушительный взрыв. Хайна швырнуло в сторону и засыпало землей. Стряхнув ее с себя, Хайн снова побрел к яме. Его почему-то неотвязно влекло к ней, словно она была единственным спасением. Бомба упала недалеко. Вся внутренность ямы была

словно бы поднята экскаватором и выброшена на глиняные откосы. То, что Хайн и Вагнер сбрасывали вниз, оказалось опять на поверхности земли, а в глубине ямы Хайн заметил цветную куртку Кирша и расплющенную каску Вейстерберга.

Задыхаясь от гари и чудовищной вони, обессилевший, измаранный кровью, Хайн лег, чтобы передохнуть. Голова его лежала на чем-то похожем на два полена, но это теперь не имело никакого значения, потому что Хайну все время казалось, что он сам вот-вот обратится в такое же тяжелое, неподъемно тяжелое полено.

На секунду артиллерийская канонада прекратилась, затем все началось сначала с удесятеренной силой.

Это был чудовищный, грохотавший и окрашенный цветом крови ураган, откуда неслись громы и молнии, где все кипело, рвалось, оглушало, взрывало и разносило в пух. Землю будто вздыбили, и от страшных ударов, как казалось Хайну, раскалывались и падали небеса.

Все горело вокруг. Схваченная морозами почва трескалась, превращалась в прах, он обрушивался на Хайна, тоже извергая молнии, которые слепили глаза, и громы, от которых у Хайна, как ему думалось, лопались барабанные перепонки. Ему казалось также, что все дула русских орудий, пулеметов, автоматов, ужасные струи огнеметов, все бомбы самолетов направлены на него; что пехота окружает только его и танки идут грохочущей лавиной, чтобы раздавить его и превратить в прах и смешать с прахом земным.

Это был кошмар, которому не присниться, и в эпицентре его находился Хайн, оглушенный и окровавленный, хотя ни один снаряд и ни одна пуля не коснулись его, и бесчисленные осколки бомб миновали то место, где он лежал, втиснувшись в гору мертвецов, выброшенных из ямы и нагроможденных друг на друга в самых страшных сверхъестественных позах.

Мысли Хайна мешались. Порой он вообще ничего не чувствовал, будучи как бы в прострации в этом диком кипении боя,— он то затихал, то снова исполински обрушивался на степь, ставшую в тот и в последующие дни могилой тысяч людей, присоединившихся к тем, кого хоронил Хайн и его товарищи-штрафники.

Земля содрогалась под Хайном. Порой на него падал мертвец, и Хайн дико визжал от страха, как визжала

лошадь с отрубленными ногами близ него несколько часов назад. Он даже и не думал о том, чтобы найти более тихое и безопасное место. Нет, он лежал, вцепившись окоченевшими руками в ноги ефрейтора Грольмана. Два полена — это были его ноги в сапогах, украденных у офицера Вагнером и теперь совсем ефрейтору ненужных. Хайн в своем состоянии полного затухания сознания не мог знать, что от Грольмана остались только ноги, а от Вейстерберга, Кирша и Вагнера не осталось ничего вообще... И быть может, в те минуты господь бог, восседая на небесах, куда вознеслись их души, прикидывал в уме, куда пристроить этих солдат фюрера: бросить ли в кипящие смолы ада или направить в чистилище, дабы они смыли с себя преступления, совершенные в России, Польше, Франции, Чехословакии, Бельгии, Дании, Норвегии, Голландии, в Европе, Азии и Африке...

Хайну не довелось присоединиться к их компании, хотя каждую секунду это могло случиться. Он не чувствовал ничего — ни голода, ни жажды, ничего, кроме того, что почему-то еще жив. Каждая клетка его тела оледенела от ужаса, и он был похож на один из оледеневших трупов, среди которых спасался.

Мир для него перестал существовать; только пространство, занимаемое им, ощущал он, и это пространство могло стать для него либо спасительным земным пристанищем, либо он так и останется здесь, и никогда матери и сестрам не узнать, в какой яме, в какой именно части русской степи лежит их сын и брат.

Все, видимое Хайном и как-то отпечатывающееся в его мозгу, было нереальным, страшным видением, тонущим в грохоте стали и пламени взрывов. Пламя и грохот сливались в одно. Хайну казалось, что это началось не утром, а очень давно, и он уже не тот шальной, веселый и жуликоватый парень, а древний старик, у которого одеревенели все жилы и кровь холодна, как земля, на которой он лежал.

Иногда он машинально проводил негнувшимися пальцами по окаменевшему лицу, чтобы удостовериться этим жестом в способности двигать рукой и убедиться, что он продолжает жить среди дикого хоровода смертей.

Мимо бежали и падали солдаты, торопливо проходили санитары с носилками. Кто-то из них тронул Хайна за

плечо и приказал бежать, но Хайну было все равно, бежать или лежать: он ждал смерти.

С лязганьем, изрыгая огонь из орудий и пулеметов, прошли русские танки, кроша гусеницами машины, повозки и орудия. Один танк переехал через лошадь и тем кончил ее страдания.

Хайн видел суровые лица русских танкистов; танки, покачиваясь на неровной поверхности степи, ныряли, подобно лодке, в неглубокие лощины, и шли напролом, а навстречу им неслись люди с поднятыми руками — румыны, немцы, итальянцы, венгры...

Быть может, русские танкисты видели человеческие тела, выброшенные на откос ямы, и чувство уважения перед павшими солдатами повелевало им обходить гору трупов — ни один из них не наехал на нее. Танки обтекали яму и Хайна, вжавшегося в землю.

Неизвестно, сколько часов он пролежал, не шевелясь, чувствуя, как коченеют руки и ноги и как желудок примерзает к ребрам. Стало тише, бой ушел куда-то дальше, а вдали все еще ревело и рвалось. Поднялся ветер, разнес дымовую завесу. Сероватое вечернее небо осветилось робко мерцающими звездами. Хайн пополз. Он полз, припадая к земле, сливаясь с ней, развороченной, горько пахнувшей, располосованной гусеницами танков, взрывами снарядов.

Как он добрался до траншей, куда отошли окруженные батальоны и взводы, он не мог рассказать Эберту ни в ту ночь, ни после.

...Впрочем, Эберту в тот день и в ту ночь было не до Хайна. Когда русские начали штурм, Эберта вызвали к командующему. Там был Шмидт. Он кричал на ухо генерал-полковнику — на ухо, потому что из-за рева канонады нормальный человеческий голос не был слышен даже здесь, в подвале.

— Они наступают с севера, юга и запада! Они ввели в атаку все наличные силы и всю артиллерию, в том числе тяжелую, подчиненную верховному командованию.

— Так...

— Армия ждет ваших приказов, господин генерал-полковник.

«Почему у меня не хватает воли объявить один единственно правильный приказ: выкинуть белый флаг? Про-

клятое, тупое подчинение долгу! Проклятое послушание примерного немецкого мальчика!»

Бой длился весь день. Из корпусов, дивизий, полков приходили сводки: противник наступает, охватив железным кольцом ураганного огня пылающий в огне котел. Оборона прорвана на трех направлениях... Потери, потери, потери... Русские рвутся к основному ядру окруженной армии.

«Еще есть возможность остановить кровопролитие», — радировал генерал-полковник своему начальнику, фельдмаршалу Вейхсу. Вейхс радировал Цейтцлеру. Цейтцлер сообщал радиограммы фюреру. Фюрер твердил:

— Каждый час сопротивления шестой армии — огромная помощь другим армиям. Они должны драться.

Они дрались десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого января.

Котел, сжимаемый чугунными обручами, готов был лопнуть, но еще держался.

Девятнадцатого января в шестнадцать ноль-ноль генерал-полковник отправил фюреру радиограмму: «Сталинград нам больше не удержать. Умирающие с голоду, раненые и замерзающие от холода солдаты валяются на дорогах. Прошу разрешения пробиваться наличными силами на юго-запад и выслать самолет для вывоза специалистов. Из их списка меня исключить».

Фюрер не ответил.

В те же дни котел, не выдержав давления, взорвался и раскололся на две половины. Последняя посадочная площадка для самолетов оказалась в руках русских. На запад улетел последний транспортный самолет.

И, словно в насмешку, двадцатого января фюрер сообщил командующему дважды окруженной армии, что он отклоняет все пункты, изложенные в радиограмме от девятнадцатого.

Генерал-полковник замкнулся в себе. Он никого не пускал в свой кабинет, кроме Адама и Хайна, вернувшегося из штрафной роты. Даже врачу было запрещено тревожить его.

Но как-то Шмидт вломился к командующему. О чем они разговаривали, никто не знал. Наутро Шмидт при-

казал размножить и разослать в части приказ. Прочитав его, Адам ахнул. Он направился к генерал-полковнику, показал ему приказ.

— Виноват, эччеленца, я ничего не понимаю. Ведь это... Это же сплошная ложь. Зачем вы подписали?

— Так нужно,— выдавил генерал-полковник.— Так нужно, Адам. Видите ли,— он скривил губы,— кое-кто начал подозревать в пораженческих настроениях меня и тех, кто рядом со мной и кому я особенно доверяю.— Он не смел глядеть в глаза адъютанту.

Адам отдал честь и ушел. Он знал, чье это дело. Но он не имел права осуждать шефа — слабости человеческие присущи всем. И разослал приказ в части. А в нем говорилось, что «за последнее время русские неоднократно пытались вступить в переговоры с армией и с подчиненными ей частями. Их цель вполне ясна: путем обещания в ходе переговоров о сдаче в плен надломить нашу волю к сопротивлению. Мы все знаем, что грозит нам, если армия прекратит сопротивление: большинство из нас ждет верная смерть либо от вражеской пули, либо от голода и страданий в позорном сибирском плену. Но одно точно: кто сдастся в плен, тот никогда больше не увидит своих близких. У нас есть только один выход: бороться до последнего патрона, несмотря на усиливающиеся холода и голод. Поэтому всякие попытки вести переговоры следует отклонять, оставлять без ответа, а парламентеров прогонять огнем. В остальном мы будем и в дальнейшем твердо надеяться на избавление, которое находится уже на пути к нам...»

Это была прямая ложь, и все знали, что это ложь, и она уже никого не могла обмануть.

Приказ в тот же день стал известен русским. Понимая, что ложь, написанная в нем, может вызвать новые потоки крови, командующий Донским фронтом снова прислал парламентеров.

Шмидт распорядился не принимать их.

Однако разложение, будто моровая язва, охватило армию. Находились офицеры, подобные Даниэльсу, подумывавшие о сдаче в плен вопреки истерическому приказу командующего армией. Одним из них был командир двадцать четвертой танковой дивизии генерал Арно фон Ленски.

21. ФИЛОСОФИЯ ЕФРЕЙТОРА ЭБЕРТА

Хайн, давно вернувшийся из штрафной роты, как-то зашел в каморку, которую занимал толстяк Эберт; тот отдыхал после ночного дежурства.

Он лежал и насвистывал не очень веселую мелодию, когда Хайн окликнул его.

— Эй, Эберт. ты спишь?

— Я размышляю!

— Эх, если бы я умел! — вздохнул Хайн и подсел к ногам Эберта.— О чем ты размышляешь теперь, толстячок?

— О глупости человеческой,— был ответ.

— Но не считаешь же ты меня круглым дураком?

— Не такая уж ты шишка, чтобы тратить время на размышления о тебе. Конечно, ты глуп,— снисходительно продолжал Эберт,— но ты молод. Молодости свойственна глупость, Хайн.

Этот афоризм несколько утешил Хайна. И все же он попробовал возразить:

— Вон полковник Адам тоже не слишком пожилой, а умница, однако.

— Адам был бы самым глупым из полупожилых людей, если бы не был таким честным малым,— Эберт вздохнул.— Разумеется, ты свалял дурака, решив порадовать шефа краденым гусем. Конечно, ты не мог знать, что неблагодарность начальства — его законное право. Нашел чем удивить командующего! Как будто до этого он не ел краденую пищу и не пил краденое вино.

— Ты помолчи,— резко сказал Хайн.— Мой шеф не вор!

— Вот дурень! Ясно, сам он не лезет в чужой подвал. Ему приносят краденое. Ему приносили еду, украденную у французов, поляков, чехов, словаков, датчан, голландцев, бельгийцев, норвежцев и так далее. Ты не представляешь, сколько бочек краденого вина влили в свои животы штабные твоего шефа за две последние кампании, Хайн. Нам этого количества хватило бы на всю жизнь. Славное винцо пили они, Хайн! — Эберт почмокал губами.

— Фельдмаршал Рейхенау много пил,— вспомнил Хайн.— Он признавал только французский коньяк и шампанское.

— Не покупал же он его! — Эберт рассмеялся. — Вот так, Хайн. А твое замечание, будто Адам бог знает какая умница, не стоит того, чтобы тратить слова на опровержение его. Сам говорил, что Адам пользуется неограниченным доверием шефа и якобы они часами шепчутся о том, что боятся сказать вслух. Боятся сказать нам, Хайн. Но не в том дело.— Эберт почесал живот.— Дело вот в чем, дурачок. Если бы Адам действительно был мудрым, он уговорил бы командующего принять условия русских. Не знаю, как генералы и полковники, но мы с тобой наверняка остались бы в живых, чего теперь тоже наверняка обещать тебе не могу. Нет, Хайн, не могу. Русские похоронят нас в этой вонючей яме.

Хайн нахмурился. Он не забыл ни той ямы, откуда ему пришлось идти в штрафную роту, ни тех ям, которые копал. Он не знал, что страшнее. Нет, пожалуй, все-таки та, где лежали русские. Потому что их убили ни за что ни про что — это-то теперь дошло до сознания Хайна.

— Я видел яму, куда комендант навалил полтысячи русских,— глухо сказал Хайн.— Страшно было смотреть на них.

— Да, ты рассказывал мне эту историю,— лениво ответил Эберт.— Что ж, командующий разыграл отличное представление. Как в театре. Один из саперов, он ученый малый, доктор каких-то там наук, попавший в саперы по милости разозлившегося на него начальника, покатываясь со смеху, рассказывал ребятам, что командующий произнес, как он сказал, монолог в духе Шекспира. Я не знаю, кто был тот тип, но тоже, видно, любил представления в том же духе. Это было здорово придумано! Коменданта отослали в штрафную роту, через два дня его взяли в плен русские. «Преступление и наказание» — есть такая книжка, не помню, кто ее написал. Какой-то русский. Или поляк. Уж теперь большевики вытянут из того эсэсовца все, что им надо! И он ответит за то, что делал здесь. Но кто ему приказывал делать, ты случайно не знаешь, Хайн? Ха-ха! Им-то не придется отвечать. Они такие чистенькие, такие святые!..

— Меня не было, но Адам говорил, что командующий был очень расстроен в те дни,— пробормотал Хайн.

— Он просто представил самого себя в той яме, Хайн,— рассмеялся Эберт.— Не очень весело думать, что и ты будешь валяться в такой же яме с руками, перекру-

ченными проволокой. Или увидеть свою жену в том виде, в каком ты видел ту женщину с ребенком. В нашем положении все возможно,— заключил он.— Н-да! Коменданта убрали, но отвечать все равно придется всем нам. Твоей матери, твоим сестрам, твоим братьям и моему старику тоже. Не знаю, может, им не будут скручивать руки и пальцы проволокой, но горюшка они хлебнут. За все украденное платить будут не генералы и полковники, а народ. Мне рассказывал отец, каково было выплачивать контрибуцию за прошлую войну. Вчистую разорилась Германия.

— Ты говоришь так, словно мы уже побеждены,— одернул Эберта Хайн.— До границ родины далеко, и мы еще посмотрим, кто кого...

— Иди к себе, дурак,— хладнокровно заявил Эберт.— Иди и утешай себя этими слюнявыми мыслями.

— Ну, ну, не сердись!

— Вы слышали, что он сказал? — Эберт драматическим тоном обращался к невидимым слушателям.— Этот идиот сказал, что до границ Германии далеко. Верно, далеко. Ровно столько, сколько мы прошли от границ родины до Волги, столько же и русским идти от Волги до границ нашей родины. Ни на дюйм меньше, Хайн. Да будь я проклят, если еще раз поверю, будто война с большевиками — священная миссия германской нации, а жизненное пространство может быть приобретено только на Востоке.— Эберт скверно выругался.— Мне нужен клочок земли. Он есть у отца. Больше мне ничего не нужно, ничего, будь они прокляты! И я еще не знаю, может, мое жизненное пространство завтра ограничится двумя метрами земли. Мне еще думать о чем-то!

Хайн слушал Эберта с мрачным видом. Он тоже не понимал болтовни о жизненном пространстве. У его матери приличная квартирка в тихом селении... Садик, дюжина грядок. Мать никогда не жаловалась на нехватку жизненного пространства... Да и за коим чертом надрываться над грядками, если бы, положим, их было не дюжина, а сто дюжин?

— Охо-хо! — вырвалось у него.— Все это правильно, Эберт. Ты умница, однако. Я даже не представлял, какая ты умница.

— А вот твой шеф не позвал меня, когда решался вопрос о капитуляции. Ну не глупо ли? Генералы дума-

ют, что ум только у них, а мы серая безмозглая скотинка. Гони нас в бой, кроши наше мясо... Вот наша доля, Хайн. Фюрер отклонил условия русских. Мы потеряли, как я передавал в штаб Вейхса, шестьдесят тысяч человек убитыми и ранеными, армия раскололась на два котла. Жрать нечего. Медикаментов нет. Они решили, ты слышишь, они решили всех нас отдать этой карге — смерти! — в ярости выкрикнул Эберт.— А в Берлине сукины дети, запретившие командующему капитуляцию, в это же самое время обжираются чем попало, танцуют и спят с бабами. Они и думать-то забыли о нас! Сволочи! О, как я ненавижу их!

— Молчи, Эберт, нас могут услышать! — испуганно проговорил Хайн.

— И дьявол с ними! — кричал Эберт.— Да пусть лучше меня поставят к стенке за слова, которые сейчас на уме у каждого солдата, чем знать, что ты пропадешь ни за что ни про что в этом подвале!

— Тебе могут припаять пораженческую пропаганду, — прошептал Хайн, — и я уже не смогу замолвить за тебя словечко шефу. Шмидт рыщет повсюду, подслушивает, заводит со штабными разговоры, вроде твоих, а потом выдает пораженцев кому следует. Заткнись, слышишь?

— Ладно,— сказал Эберт,— заткнусь.

— Так-то лучше будет. — Хайн помолчал. — Слушай, Эберт, что же теперь будет?..

— Тебе лучше знать. Ты всегда рядом с командующим, ты слышишь его разговоры.

— Он теперь больше молчит. Молчит или читает библию. Даже с Адамом не шепчутся.

— Думаю, что и он, и все, кто над нами, Хайн, только о том и помышляют, как бы спасти свои шкуры. Выдумывают такой ход, чтобы и фюреру угодить, и самим не загнуться.

— Я не понимаю, почему они так боятся фюрера? — снова переходя на шепот, сказал Хайн.— Ведь он так далеко, и вряд ли мы уже увидим его. Может, только после войны.

— Нет, они не фюрера боятся. Наплевать им на него, тем более теперь, когда он подвел их самым бесстыдным образом. Раз они валят на него все поражения, значит, не боятся.

— Тогда почему же не принять условия русских?

— Очень просто. Каждый из них хочет, чтобы кто-то другой взял на себя ответственность. Ведь эти идиоты убеждены, что их имена будут вписаны в историю. Красиво ли будет выглядеть в истории тот, кто первым побежит на поклон к русским, сообрази! Вот и ждут, чтобы нашелся такой, кому море по колено.

— А ты бы пошел к русским на поклон?

— А что мне терять? Уж мы-то с тобой в историю не попадем. Дай бог из этой «истории» выбраться целехоньким.— Эберт снова рассмеялся.— Ей-богу, я бы пошел к русским. Поговорил бы с ними о том о сем, сказал бы: «Хватит, ребята, кончаем эту лавочку. Конечно, мы пришли к вам незваными гостями, но и вы здорово угостили нас. Мы сдаемся, но только уговор: никого пальцем не трогать!» Ведь русским тоже хочется поскорее разделаться с нами и двинуть войска туда, где идет их наступление.

— Да,— задумчиво сказал Хайн,— пожалуй, ты бы договорился с ними.

— Уж будь покоен, — подтвердил Эберт.

— А они здорово наступают?

— Такого наступления еще не было.

— Пожалуй, ты прав. До границы не так уж далеко. Закурим?

Дым эрзац-сигарет поплыл к потолку каморки.

22. ЮДОЛЬ ПЛАЧЕВНАЯ...

Адам при свете огарка, воткнутого в бутылку, перелистывал четвертый том «Толкового словаря» Даля, подобранный им во дворе.

Он вникал в русские слова, в их содержание и смысл, понимая, что, если впереди жизнь, надо знать, хорошо знать язык тех, среди которых придется жить, быть может, много лет.

Так он дошел до слова «юдоль»... «Юдоль плачевная, мир горя, забот и сует».

— «Завеща бог смиритися всякой горе высоцей и холмом... и подолиям наполнитися в ровень земную», — читал он.

Генерал-полковник сидел, ссутулившись над столом, раскладывая пасьянс «Могила Наполеона». Он вздрогнул от слов Адама, произнесенных вслух.

— Что-что?

— Я читаю русский словарь. В их языке есть слово, которого я не знал. «Юдоль», эччеленца, «юдоль плачевная, мир горя, забот и сует». Тут прекрасные слова, — очевидно, на старославянском: «Завещал бог смириться всякой высокой горе и холмам, а склонам стать вровень с землей...» За точность перевода не ручаюсь.

— «Смириться всякой высокой горе»! Хм! — Паулюс положил еще две карты, и «Могила Наполеона» вышла. — Символически звучит для нас, Адам.

— И правда, эччеленца, а я как-то не догадался.

— Он еще не пришел?

Адам взглянул на часы.

— Вот-вот должен быть.

Генерал-полковник принялся за пасьянс «Четыре короля».

— Вы скучаете по дому, Адам?

— Как и вы, эччеленца.

— Любопытно, что там говорят о нас.

— Радисты перехватили сводку, объявленную верховным главнокомандующим. Сообщается, что подразделения шестой армии, еще способные вести бой, активно сопротивляются натиску русских, не жалеющих огневых средств и солдат.

— Из этой сводки ребенок поймет, что мы конченые люди, Адам.

— Любой взрослый, во всяком случае, поймет.

«Четыре короля» не выходили.

— Как вы сказали... Это русское слово?

— Юдоль, эччеленца. — Адам оторвался от словаря. — Юдоль плачевная, мир горя...

— Уж это целиком относится к нам, не правда ли, Адам?

Адам не успел ответить, постучали в дверь.

Шмидт вошел с неизвестным Адаму капитаном. Он знал лишь то, что капитан служит в штабе генерала Зейдлица и что он русский. Его позвали для того, чтобы он написал ответ командованию Донского фронта еще на одно требование о капитуляции. Адам отказался писать, сославшись, что он более или менее хорошо говорит по-русски, но пишет плохо.

Генерал-полковник смешал колоду.

— Садитесь, — сказал он капитану. — Это он?

— Так точно, господин командующий, — отчеканил Шмидт.

— Вы русский?

— Так точно, господин генерал-полковник. Сын последнего калужского вице-губернатора.

— Борис Нейгардт, — вмешался Шмидт.

— Фон Нейгардт, — поправил его капитан.

— Извините, — язвительно обронил Шмидт.

— Как вы попали в немецкую армию? — удивившись столь необычной биографии русского, спросил генерал-полковник.

— Мой отец был членом Государственного совета при императоре Николае. Не желая попадать под колеса революции, я приехал в Ревель, где нашел своих родителей. Они вырвались от большевиков и через Финляндию перебрались в Эстонию. Очень долго рассказывать дальнейшее. Скажу кратко: я переехал в Германию и принял немецкое подданство. Потом меня взяли в армию.

— Сложное у вас прошлое, — Паулюс улыбнулся.

— Да, будет что вспомнить в старости. Если доживу до нее. — Фон Нейгардт впервые так близко видел командующего армией. Чего-то в нем не хватало для того, чтобы быть боевым, кадровым офицером. Сними шинель, китель, сапоги, одень в штатский костюм, и он вполне сойдет за учителя или врача.

— Мы вызвали вас, потому что не нашли хорошего переводчика, — сказал Шмидт. — Вы еще не забыли родной язык?

— Это единственное, что у меня осталось от России.

— Эмигранты часто забывают родной язык.

— Надеюсь, господин генерал-лейтенант, скоро я перестану быть эмигрантом.

Шмидт и генерал-полковник не поняли, что имеет в виду капитан, и перешли к делу. Шмидт положил перед фон Нейгардтом бумагу.

— Прочитайте! Это условия капитуляции. А здесь наш ответ. Вы переведете его и передадите русскому командованию по радио.

Фон Нейгардт прочитал то и другое, подумал и сказал:

— Условия очень почетные. Я не понимаю, как можно отказываться от них.

— Это решит фюрер. Пока нам надо завязать переговоры с русскими, — объяснил Паулюс.

— Но ваш ответ, господин генерал-полковник, неправильный. Нет, это невозможно! — Фон Нейгардт улыбнулся. — Нам, побежденным...

Шмидт пробормотал что-то гневное. Командующий остановил его резким движением руки.

— ...Нам, побежденным, повторяю, невозможно требовать присылки парламентеров. Напротив, мы должны просить командование Донского фронта принять наших парламентеров.

— Хорошо, пусть будет так. — Генерал-полковник освободил место у стола. — Садитесь и пишите.

Пока фон Нейгардт писал, Паулюс курил, присев на койку. Шмидт сопел в углу, Адам снова углубился в словарь.

— Вот так, я думаю. Можно прочитать? — сказал Нейгардт, окончив писать.

— Да, да, читайте, — поспешно отозвался Шмидт. — Боже, как вы тянете!..

— «Я согласен начать с вами переговоры на основе ваших условий от девятого января. Прошу установить перемирие с двенадцати ноль-ноль двадцать третьего января. Мои представители прибудут к вам на двух машинах под белым флагом по дороге Гумрак — разъезд — Конная Котлубань. Командующий шестой армией...»

Шмидт вырвал бумагу из рук фон Нейгардта.

— Отлично, отлично! — выкрикнул он. — Вы будете ждать дальнейших указаний в штабе генерала Роске. Там вы найдете эту бумагу. — Он вышел.

— Пожалуйста, задержитесь, капитан, — сказал генерал-полковник.

— Слушаюсь.

— Капитан, — тихо начал генерал-полковник, — скажите по чести, это не пахнет государственной изменой?

— Что?

— Бог мой, что ж мне делать, если фюрер и теперь не даст согласия на капитуляцию?

— Вы запросили его об этом?

Паулюс кивнул.

— Зачем, эччеленца, зачем вы сделали это? — стоном вырвалось у Адама.

— Я солдат, Адам.

— Солдат Германии, а не фюрера...

— Тсс, нас могут услышать, — генерал-полковник усмехнулся. Усмешка вышла кривая. — Я не могу иначе, Адам. С малых лет меня приучали к послушанию: сначала родителям, потом учителям, потом начальству.

Адам с силой швырнул словарь в угол.

— Мы обречены, — сказал он. — Фюрер не даст согласия.

— Ну, ну, Адам, зачем такой мрак! — ласково проговорил Паулюс. — Лучше угостите нас с капитаном. Кофе, папиросы, коньяк...

— Слушаюсь, эччеленца, — угрюмо выдавил Адам.— Хайн!

Из клетушки вышел, позевывая, Хайн. Он три ночи подряд провел с той девицей из Ганновера, потому что Шмидту некогда было заниматься с нею. Три бессонные ночи, и вот его будят.

— Кофе, коньяк и папиросы, живо!

— Что ты видел во сне, Хайн?— Командующий знал, что Хайн еще дуется на него за штрафную роту.

— Что я сплю, — мрачно ответил Хайн.

— Ладно, пойдем, приготовим ужин. — Адам увел Хайна, зевавшего так сладко, что и генерал-полковник зевнул несколько раз подряд, рассмеялся и, похлопав фон Нейгардта по плечу, сказал:

— Я хочу повторить тот же вопрос. Что бы вы сделали на моем месте, если фюрер не разрешит капитуляцию?

— Трудно сказать, — замялся фон Нейгардт. — Во-первых, я бы все равно капитулировал. Если нет — разделил бы судьбу солдат и офицеров.

— Нет, нет, никогда, — глухо отозвался генерал-полковник. — Никогда! — Он вспомнил слова, сказанные старику у ямы.

Явился очень веселый Шмидт, пронюхавший, что предстоит отменный ужин.

— Очень хорошо, капитан, что вы еще здесь, — приветливо заговорил он. — Есть одно обстоятельство, и я хотел бы обсудить его с вами.

— Я в вашем распоряжении, господин генерал-лейтенант.

— Дело, знаете, щекотливое. Гм... — Шмидт не знал,

с чего ему начать. — Надеюсь, вы в курсе сложившейся обстановки.

«Знаю ли я обстановку! — думал фон Нейгардт. — Вы сидите здесь, а я в окопах. Там все, даже самые мужественные, впали в апатию, менее храбрые — в отчаяние. Вас еще спасают толстые стены подвала, а от расстрела спасут погоны и знаки отличия. А тех, кто там, ничто не спасет. Я понимаю, чего вы хотите, но я пальцем не шевельну, чтобы дать вам сберечь свои шкуры. Разделите судьбу тех, кто сейчас корчится на рогожах, — их оставили врачи и бежали. А те, кто не бежал, сошли с ума, потому что они могли только рыдать, видя страдания людей. Разделите участь с теми, кто тщетно пытается согреться, кто напрасно старается спасти отмороженные ноги, кто вырывает кусок изо рта умирающего товарища. С меня хватит, и вы хлебните все это!»

Фон Нейгардт злорадствовал, наблюдая за тем, как Шмидт ищет подходящий способ целехоньким выбраться из ада.

— Приказ есть приказ, в каком бы положении солдат ни находился в тот момент, когда приказ настиг его. Мы должны сражаться, — заговорил Шмидт. — Пока идут бои, — развивал он свою мысль, — желательно оградить особу командующего и его ближайших сотрудников от штыков русских солдат. Впрочем, даже если русские не придут сюда со штыками, они могут утопить нас, как крыс, открыв водопроводные краны. — В ту паническую минуту Шмидт забыл, что водопровод давно замерз. — В конце концов, черт побери, — продолжал он, — кто-то должен отдать приказ о прекращении огня и тем отвести опасность от особы командующего армией.

Все те минуты, когда Шмидт, перескакивая с одного на другое, пробовал связать концы с концами, путаясь и глотая слова, пытался втолковать фон Нейгардту мысль о том, что пока, мол, будут стрелять, он, Нейгардт, должен вести переговоры о сохранении жизни командующему, генерал-полковник думал: «Как можно вести столь бесстыдные разговоры с человеком, который презирает Шмидта и меня, да и не может не презирать, если вместо того, чтобы говорить о спасении десятков тысяч людей, переживающих чудовищные лишения, мы

толкуем о спасении десятка ничего не значащих для родины жизней!»

Он хотел прервать Шмидта и прекратить его бессовестные рассуждения, но не знал, что сказать и под каким предлогом отпустить фон Нейгардта. В те минуты он проклинал себя за то, что напичкан чувством долга... Это чувство крепко сидело в нем, и он не мог решиться одним росчерком пера прекратить агонию. В те минуты он понимал, что слабоволие, как продукт догматического подчинения, в глазах этого русского должно казаться особенно ужасным, ибо слабоволие командира любой войсковой части в решающий момент означает гибель всех солдат и офицеров, подчиненных ему.

Генерал-полковник боролся с собой. Преступное чувство долга побеждало неотвратимо. Он сказал вдруг:

— Боже, что будет, если меня возьмут в плен... Каким издевательствам я подвергнусь! Ведь меня могут на потеху толпе на цепи водить по Москве и показывать русским и иностранцам!

Фон Нейгардт понял, что этот человек дошел до такого состояния, когда страх побеждает разум, а для сотни тысяч солдат и офицеров эта точка означает новые страдания и бесславный конец.

— О нет! — вскричал Шмидт, боясь, что командующий может ускользнуть из его рук и выстрелом в рот избавить себя от хождения на цепи по Москве.

Шмидт знал, что его на цепи водить не будут, не такая уж он персона для процессий подобного рода, и был уверен, что русские не доберутся до того сокровенного, о чем знало только гестапо.

Ему был нужен живой генерал-полковник, потому что его жизнь гарантировала жизнь Шмидту.

Вошел Адам и сказал, что в штаб Роске пробрался унтер-офицер Лемке и сообщил, что он был свидетелем пленения Зейдлица и еще двух генералов.

Их взял в плен русский автоматчик: случайно он забрел в балку, где в землянке коротал последние часы командир корпуса. Хорошо вооруженные генералы подняли руки и сдались русскому солдату без всякой попытки сопротивляться.

Лемке видел, как их вели к берегу Волги, может быть, чтобы расстрелять, может быть, передать командованию русской армии.

— Вот видите! — с живостью заговорил Шмидт. — Их не застрелили на месте. А кто такой Зейдлиц? Просто командир корпуса. Господин командующий, я не сомневаюсь, что вам не только сохранят жизнь, но и создадут наилучшие условия. Большевики из кожи вон вылезут, чтобы показать всему свету, какие они культурные люди, ха-ха!

Генерал-полковника передернуло от этого смеха, но он ничего не сказал. Судьба Зейдлица потрясла его. «Вернее всего, — рассуждал он сам с собой, — Зейдлиц нарочно сделал так, чтобы поскорее попасть в плен и тем предоставить своим солдатам и офицерам последовать его примеру. У него хватило мужества перешагнуть через так называемый долг, и вот в этом отличие боевого, кадрового генерала от меня, кабинетного ученого, профессора академии, лишь благодаря стечению обстоятельств ставшего командующим армией».

Пришел Эберт и принес радиограмму из ставки верховного главнокомандующего.

Фюрер приказывал драться.

Фон Нейгардт, поняв, что дальнейший разговор будет беспредметным, попросил разрешения удалиться. Он решил, не теряя ни минуты, перейти незримую черту, которая двадцать пять лет отделяла его от родины.

Генерал-полковник, прочитав радиограмму, сказал:

— Юдоль.

23. ЧАСТНОЕ ЛИЦО...

Вечером тридцатого января, отослав фюреру радиограмму о том, что армия продержится не более суток, так как русские не прекращают своих атак, длящихся по двенадцати часов кряду, Паулюс вызвал Шмидта и Роске.

Первым пришел генерал-майор Роске, отличавшийся непосредственностью среди окружавших его полковников, подполковников и других офицеров семьдесят первой дивизии. Он отсалютовал командующему и встал по стойке «смирно» у двери. Вид командующего потряс его: перед ним был едва державшийся на ногах человек с воспаленными от бессонницы глазами.

— Вы больны, господин генерал-полковник, — вежливо сказал Роске, жалея старика, — в этот час командующий действительно выглядел стариком.

— Душой, Роске, душой,— пробормотал генерал-полковник. — Где же Шмидт?! — с раздражением выкрикнул он.

Шмидт, еще за дверью услышав гневное восклицание командующего, появился на пороге:

— Я здесь! Новости? — Он все ждал каких-то новостей.

— Сядьте,— коротко бросил Паулюс.— Отдайте приказ по армии, Шмидт. Ввиду того что я не в состоянии командовать разобщенными войсками, потому что не знаю обстановки на фронте, с этого часа вверяю командование северной группировкой генерал-полковнику Штреккеру, южной — генерал-майору Роске.

Так одним росчерком пера генерал-полковник решил мучавшую его проблему. Пусть финал трагедии сочиняет кто хочет, только не он.

Роске хотел что-то сказать. Командующий движением руки остановил его:

— Итак, с этого часа я являюсь в армии частным лицом, солдатом, и подчиняюсь любому решению генерала Роске, в пределах действия которого нахожусь.

Роске, давным-давно мечтавший о том, чтобы ему наконец развязали руки, наклоном головы дал понять командующему, что он понял его.

— Вы свободны, господа генералы. Я хочу спать.

Шмидт, бесконечно обрадованный таким оборотом,— наконец нашелся тот, кто возьмет на себя ответственность за прекращение огня! — вышел, что-то втолковывая на ходу Роске.

Генерал-полковник, оставшись один, разобрал койку. Он был доволен собой: «Да, это великолепный ход, черт побери... Частное лицо, ха-ха!» — и рассмеялся тихо.

Жесткая щетина, вылезшая за день, колола шею, но Паулюс не хотел бриться: горячей воды нет, а холодной он бриться не любил. Хайн обошел весь подвал в поисках стакана кипятку. Его встречали смехом.

— Бриться задумали? Уж не на парад ли собираетесь?! — кричали ему вслед.

В этот вечер генерал-полковник никого к себе не пустил. Лишь Адам и Хайн оставались с ним, но, удрученные молчанием командующего, тоже молчали.

В двенадцатом часу ночи постучали в дверь и сказали, что пришла радиограмма из ставки. Командующий, читавший библию, подскочил как на пружине.

Дрожащими руками он принял от Эберта радиограмму и тут же швырнул ее на стол. Кейтель сообщал, что специальный самолет сбросит в расположение армии двадцать восемь тысяч орденов и медалей.

Генерал-полковник лег и приказал погасить свет. Он долго не мог заснуть: канонада не действует успокоительно на нервы. В громовые раскаты вплетались какие-то другие, посторонние, звуки: то ли танки грохотали на площади рядом, то ли проходили мотомеханизированные части.

Генерал-полковник погрузился в сон и не слышал, как Адам, осторожно ступая, вышел из клетушки и пошел в штаб Роске. Был тот час, когда еще не окончилась ночь и не начиналось утро. Тьма медленно таяла, но предметы еще сохраняли неясность очертаний.

Адам вышел в коридор и остановился, пораженный: около двухсот офицеров, охранявших ставку командующего и дежуривших с оружием в развалинах верхних этажей, заполнили коридор. Кто спал, кто тихо разговаривал. Электричество погасло. Неверный свет огарка, прилепленного к пианино, колебался от движения воздуха. Слышалось нервное дыхание, легкое похрапывание, бредовые выкрики во сне...

Синее облако табачного дыма висело под потолком.

Те, кто не спали, проводили Адама безразличными взглядами. Адам не решился заговорить с ними и выяснить причину столь непонятного явления.

«Ставка не охраняется? Черт знает что!»

Лишь войдя к Роске, он узнал, в чем дело: двадцать минут назад громкоговорители русских, установленные на площади Павших борцов, передали защитникам опорного пункта южной группировки ультиматум о немедленном прекращении огня.

Последний акт битвы на Волге был разыгран при участии тридцать восьмой мотомехбригады и триста двадцать девятого инженерного батальона шестьдесят

четвертой армии. В ночь на тридцать первое января эти части блокировали все входы и выходы универсального магазина. Советские командиры пригрозили офицерскому полку, охранявшему штаб, разнести то, что еще осталось от магазина, и похоронить под развалинами тех, кто сделает попытку сопротивляться.

Роске, смеясь, сказал:

— Калиф на час, полковник, не знает, что в таком случае положено делать. Людей сверху я снял, а дальше?

— Дальше будет так: я возьму двух автоматчиков и пойду парламентером к русским.

— Вы отчаянный человек, вижу, — улыбнулся Роске.

— Кому-то надо кончать это, генерал, — сурово нахмурился Адам. — Кроме того, я хочу сохранить жизнь командующему.

— С богом, — сказал Роске.— Постарайтесь затянуть переговоры. Утро вечера мудренее. Свежие головы не дадут русским принять безрассудные решения.

Адам ушел.

24. ЖЕРТВЕННЫЕ КУБОМЕТРЫ ШТЕККЕРА

Так обстояли дела той ночью в южном котле. Но был еще котел северный; он опирался на разрушенные здания и бесчисленные подвалы заводов, где прятались, подобно крысам, солдаты соединений одиннадцатого армейского корпуса. Им командовал генерал-полковник Штреккер.

Здесь, в этих подвалах, прямо на голой земле лежали раненые. Солома, драные матрацы и дощатые нары выдергивались более сильными из-под тех, кто помирал. Врачи не могли делать операций. Они могли лишь вздыхать, видя, как корчатся и испускают дух те, кому уже ничто не могло помочь, кроме разве господнего милосердия, к которому они и взывали, прося поскорее взять их с земли, ими же оскверненной.

Котел почти не сопротивлялся. Приказом Штреккера командующие артиллерийскими соединениями могли вести огонь только с разрешения командиров дивизий, да и то просто для того, чтобы удостоверить русских, что корпус еще кое-как дышит. Впрочем, русские, занятые

более серьезными делами, не слишком напирали: время финала для северного котла не пришло, хотя, как понимали все командиры, в том числе и уже упомянутый генерал Арно фон Ленски, советское командование разделается с ними одним ударом, и удар этот может последовать в любую минуту.

Однажды генерал Ленски, полагая, что новое кровопролитие можно предотвратить очень простым способом, то есть сдаться в плен, пришел к Штреккеру. Угрюмый командующий встретил генерала недоуменным взглядом.

Поговорив о том о сем, Ленски попросил разрешения доложить обстановку.

— Я знаю ее не хуже, чем вы, — отрубил Штреккер, полагавший, что резкость наиболее подходящий способ обращения с подчиненными.

— Возможно, — сказал Ленски, не поддаваясь соблазну ответить в том же тоне. — Ставлю вас, однако, в известность, что моя дивизия, собранная из остатков четырех дивизий, больше не может сковывать сколько-нибудь значительные силы русских. Не преувеличу, если скажу, что в дивизии три четверти раненых, умирающих и больных. Я думаю, мы выполнили свой долг. Наша задача решена.

Штреккер уперся жестким взглядом немигающих глаз в лицо Ленски и тихо, раздельно сказал:

— Дорогой Ленски, генерал Латтман только что сделал мне аналогичное предложение. Однако вы должны знать приказ фюрера. Избавьте меня впредь от подобных речей. Немецкий генерал не сдается в плен. Кстати, напоминаю вам о присяге. Кроме того, имеется военный трибунал. Вам все понятно?

— Так точно. Но должен заявить, господин генерал-полковник, что я подчиняюсь лишь в силу воспитанного десятилетиями беспрекословного повиновения, а не в силу веления ума, совести и долга перед страдающими солдатами.

— Хватит! — оборвал генерала Штреккер.

— Одну минутку, — остановил его Ленски, не поддавшись и на этот раз желанию сказать командиру корпуса все то, что жгло сердце. — Быть может, вы объ-

ясните мне, просто как человек человеку, ради чего мы делаем все это?

— Ради долга.

— Но разве вам неизвестно, что в ставке верховного главнокомандования нас считают погибшими, а сводки о нашем положении скорее напоминают заупокойную мессу?

— Да, знаю, — мрачно обронил Штреккер. — И только сегодня дал в ставку радиограмму, где указываю, что заупокойные молитвы считаю преждевременными. Можете идти.

И Ленски ушел. Ушел, чтобы выполнить то, что жгло его сердце.

Он созвал командиров своих частей и сказал им:

— Завтра здесь разразится ужасное побоище. Все говорит о том, что очередь за нами. Тысячи людей превратятся на наших глазах в кровавую массу. Никто не имеет права взять на себя ответственность за такое гнусное преступление. Генерал-полковник Штреккер отказывается подчиниться здравому смыслу. Пройдет, быть может, долгое время, пока он разберется в чудовищности своих поступков и присоединится к здравомыслящим людям, понимающим, какую катастрофу готовили нам люди, обуянные манией величия. Пришло время кончать битву.

Генерал Латтман, которому Штреккер не раз грозил трибуналом за «пораженчество», сказал, что он приходит в ужас от поведения командующего северным котлом. «Он так всегда распространялся о том, что забота о солдатах — первостепенный его долг...»

Ленски обещал через час сообщить командирам частей о своем решении. Вечером он обошел позиции войск, зашел в подвалы, где стоны и вопли мешались с плачем санитаров. Тускло коптящая керосиновая лампа бросала угрюмый свет на это вместилище человеческих страданий.

«Все распадается, все рушится, — подумал Ленски. — Только страх перед неизвестностью еще сохраняет какую-то видимость дисциплины».

Ночью он написал последний приказ по дивизии. Он не довел его до сведения Штреккера, решив поставить генерал-полковника перед совершившимся фактом.

На рассвете командир триста сорок третьей советской дивизии генерал Усенко принял от Арно фон Ленски капитуляцию...

А Штреккер, с солдафонским высокомерием заявивший, что германские генералы не сдаются, сдался через два дня, принеся в жертву фюреру еще тысячи человеческих жизней.

25. ФИНАЛ

Пока Адам вел переговоры с русскими, Эберт принял еще одну радиограмму из ставки верховного главнокомандования. Он поспешил с ней к Шмидту. Тот нервно курил, прислушиваясь к тому, что делалось в подвале. Ему казалось, что в комнате командующего кто-то ходит, чудились обрывки разговора. Несколько раз Шмидт срывался с места, выходил в приемную и подолгу сидел на парте, вслушиваясь в гробовую тишину.

Больше всего он страшился выстрела там, за стеной, — одного-единственного выстрела, который имел бы для него, Шмидта, самые дурные последствия. Дело в том, что ему донесли, будто Хайн клялся всеми святыми сообщить русским, буде такое случится, что Шмидт, сукин сын, гестаповец и шпион при командующем армией. Лишь особа командующего, лишь одна-единственная его обеляющая фраза могла спасти Шмидта.

Грохот закрытой Эбертом двери показался Шмидту тем самым зловещим звуком. Он вздрогнул и, увидев радиста, процедил сквозь зубы:

— Мог бы закрыть дверь потише.

— В коридоре сквозняк, господин генерал-лейтенант. — Эберт стоял навытяжку. Живот его за эти недели значительно поубавился.

— Что у тебя?

— Радиограмма из ставки. Думаю, ее немедленно надо сообщить командующему, господин генерал-лейтенант. Такие вещи случаются с людьми раз в жизни, вы не находите?

Шмидт прочитал радиограмму и понял, что отныне никакие беды ему не грозят, — только не отходить ни на шаг от командующего, не отходить даже вопреки его воле.

Осклабившись, он сказал:

— Прекрасная новость, дружище Эберт, великолепную новость ты принес мне. Спасибо! Но приказываю,— Шмидт поднял палец, — никому ни слова, слышишь? Командующий очень устал, он спит. Я не хочу тревожить его. Он узнает о радиограмме несколько позже. В конечном счете это останется при нем на всю жизнь, не так ли, толстячок? — Шмидт открыл коробку с сигарами и передал две гаваны Эберту — такой щедрости он никогда не позволял себе. Эберт был поражен. — И я позабочусь о тебе, слышишь? Русским я скажу, что ты самый безобидный человек на свете.

— А я и есть самый безобидный, — резким тоном ответил Эберт.

— Какие новости еще? — спросил Шмидт. В иное время за вызывающий тон он отослал бы Эберта суток на пять в карцер.

— О, много всяких. Сидишь и слушаешь весь мир, господин генерал-лейтенант. Какая-то тайная радиостанция Берлина передает, что господин рейхсмаршал Геринг устроил роскошный ужин в честь своего дня рождения. Между тем, сообщает та же радиостанция, в знак солидарности с нами все тыловые воинские части и штабы сократили свой паек наполовину.

— Гм!

— Случайно поймал бельгийскую подпольную радиостанцию, господин генерал-лейтенант. Можете представить, эти олухи объявили на завтра всенародный праздник.

— По какому случаю?

— Виноват, но ведь это не я придумал, господин генерал-лейтенант. Заранее оговариваюсь, я здесь совершенно ни при чем. Более того, я категорически не разделяю мнения каких-то там бельгийских коммунистов и вообще всех, кто называет себя силами сопротивления. Прошу иметь это в виду.

— Хватит болтовни!

— Слушаюсь.

— Какой праздник они решили праздновать, эти изменники?

— Праздник... Мне так трудно это выговорить... Праздник по случаю разгрома нашей армии. Видно, она здорово насолила бельгийцам в свое время. Они просто

захлебываются от восторга, сообщая бельгийским мужикам и рабочим, в какую скверную переделку мы попали. Музыка, знаете, играла. Не хватает танцев, черт побери. Танцев на наших трупах. Но думаю, они бы с радостью потанцевали на них.

— Ничего. Фюрер пропишет им такую музыку — на долгие годы запомнят.

— Так точно! — отчеканил Эберт.

— Ну, что еще?

— В военных сводках ставки, господин генерал-лейтенант, я бы сказал, не наблюдается большого оптимизма. Передают, что мы уничтожили все важнейшие бумаги и документы, заложив таким образом цоколь для своего памятника. Прошу прощения, но мне это непонятно. Пепел не такой уж прочный материал для памятника, вы не находите?

— Я нахожу, что ты не такой идиот, каким я тебя считал. В иное время за эти слова тебе бы качаться на веревке, Эберт.

— Так точно, господин генерал-лейтенант! — весело отчеканил Эберт. — Увы, если бы это другое время было возможно! Ах да, забыл еще кое-что. Оказывается, господин генерал-лейтенант, мы тут все были оплотом исторической европейской миссии, как сообщают из ставки верховного командования. Вот уж не воображал, что я участвую в таком великом деле, черт побери. И весь германский народ, сказал на днях рейхсминистр доктор Геббельс, в очень веселом настроении. Хотел бы я знать, с чего ему веселиться?

Эберт издевался над Шмидтом, и тому это было вполне ясно. Он мог бы наорать на Эберта, выгнать его, но боялся, как бы радист не проник к командующему армией и не сообщил содержание радиограммы. Она была в руках Шмидта козырным тузом, но время выложить его на стол еще не пришло. Поэтому он и терпел издевки Эберта.

А тот не унимался:

— И еще одна новость, господин генерал-лейтенант. Военный обозреватель генерал Дитмар, я слышал его выступление, заявил, будто наши, сдаваясь в плен, ликуют, что им довелось выслушать обращение фюрера. Это напомнило мне анекдот насчет того, как командир

одной нашей подводной лодки, подорванной англичанами, послал радиограмму: «Тонем, изучая «Майн кампф». Теперь... Берлин передает, что в нашу честь закрыли все театры, кино и рестораны, а церковные колокола гудят день и ночь, и попы служат панихиды. Както все это не сходится с весельем народа, вы не думали об этом?

Шмидт наливался кровью от ярости, но молчал.

— А вчера, — продолжал Эберт, — рейхсмаршал Геринг выступил с речью, где сравнил нас с греческими героями, которые в битве при Фермопилах — кажется, так зовется тот городишко — погибли все до единого, а позиций не сдали. Черт побери,— Эберт рассмеялся,— он тоже вроде бы хоронит нас, то есть господин рейхсмаршал, хотел я сказать.

— Помолчи! — резко оборвал его Шмидт. — Это не твоего ума дело. Нет вестей от Адама?

— Он еще не вернулся от русских. Я переменил мнение о нем. Он храбрый малый, господин генерал-лейтенант.

Шмидт все время морщился от двусмысленных слов Эберта, но, решив, что заняться им надо было раньше, делал вид, что не понимает скрытой иронии.

— Ладно, ладно. Передай Роске, пусть и он потянет с переговорами, если Адам приведет сюда русских. То, что человек может сделать ночью, он не сделает днем. Охлаждение страстей в решающий момент — великое дело. Неторопливость успокаивает нервы, ха-ха! Да, забыл сказать, передай фюреру радиограмму: мы верны ему до конца. После этого можешь разбить радиопередатчики и сжечь коды. Иди. Впрочем, стой. Вот тебе еще сигара. Кури на здоровье, толстяк.

Когда Эберт ушел, Шмидт еще раз перечитал радиограмму, подписанную фюрером. По странному стечению обстоятельств она была отправлена из ставки в ту самую минуту, когда громкоговорители русских положили начало концу.

Внезапно стрельба прекратилась. Шмидт понял, что переговоры Адама с русским командованием начались. Через час, когда ленивое зимнее утро начало проникать через покрытое морозным узором окно, его попросили в штаб Роске. Там находились два русских офицера.

Узнав, что они представляют командиров частей, окруживших универсальный магазин, Шмидт медленно процедил:

— Армия может вести переговоры только с армией. Вызывайте для переговоров о капитуляции либо представителей вашей армии, либо — штаба Рокоссовского.

В восемь часов утра в ставку южной группировки приехал полковник, начальник оперативного отдела штаба шестьдесят четвертой армии, сопровождаемый начальником разведывательного отдела и заместителем начальника штаба по политической части.

Еще во дворе Адам потребовал документы, подтверждавшие полномочия советских офицеров, на что последовал суровый и категорический отказ. Затем все проследовали в подвал. Солдаты и офицеры, толпившиеся во дворе, загудели пчелиным роем. Каждый наперебой старался указать дорогу русским. Толкотня и шум прекратились после окрика Адама.

Он ввел русских офицеров в комнату. Там, поджидая делегацию, сидели Роске, Шмидт, еще несколько офицеров. Все вскочили при появлении русских командиров. Шмидт представился, вслед за ним назвал себя Роске.

Полковник, возглавлявший делегацию, потребовал немедленно отвести их к командующему армией. Нет, это не входило в расчеты Шмидта!

— Господин командующий нездоров. Переговоры буду вести я. Что вам угодно?

— Немедленная и безоговорочная капитуляция, — прозвучал суровый ответ.

Суетясь и подпрыгивая, Шмидт тут же согласился на капитуляцию южной группировки.

Советские офицеры, наблюдая эти прыжки и ужимки, молча усмехались.

— Но я тоже ставлю условия! — прокричал Шмидт переводчику. — Недопустимо, чтобы офицеры в таких званиях устраивали допрос командующему или мне, начальнику его штаба. Показания военного порядка мы будем давать только командующему фронтом. Затем я требую обеспечить безопасность господина командующего армией.

— Не беспокойтесь, никто не собирается его убивать, — презрительно обронил старший советский офицер.

— Кто знает, вдруг найдется какой-нибудь фанатик!

— Хватит, — прервал его Адам, понявший неуместность всех этих рассуждений. Ему было ясно, что Шмидт заботится вовсе не о безопасности командующего, а о своей собственной шкуре.

— Да, хватит, — надменно пожав плечами, проговорил Шмидт. — Мы ждем для дальнейших переговоров, как я уже сказал, высшего офицера вашей армии или фронта.

Не прошло и часа, как в подвал спустился русский генерал, уполномоченный вести переговоры с командующим немецкой армией. И только перед ним Шмидт открыл свои карты.

— Ставлю вас в известность, господин генерал, что со вчерашнего дня господин командующий сдал командование и является в данный момент частным лицом.

— Ладно, — посмеиваясь, ответил генерал, заметив, как пыжится Шмидт, напуская на себя важность. — Ведите нас к «частному лицу».

Через коридор, очищенный по приказу Роске от офицеров — их выгнали во двор, — русский генерал и сопровождающие его офицеры направились к Паулюсу.

Тот уже все знал: Хайн сообщил ему, что Адам ведет переговоры о капитуляции.

Генерал-полковник промолчал. Как ни казалось ему странным, но именно в эту минуту он ощутил в себе легкость и необыкновенное чувство счастья и радости, словно только что встал после тяжелой болезни, словно ослабевшими ногами подошел к окну отцовского дома, а за ним расстилалась равнина, покрытая выпавшим ночью снегом, просторная и девственно-чистая, согреваемая светом солнца.

Теперь, скинувший ужасную тяжесть, давившую на душу все эти последние месяцы, он понял, что другая жизнь, которая ждет его за стенами подвала, прекрасна, какой бы она ни оказалась для него. Его не будут мучить сложные проблемы, возникавшие каждый час.

Дерется ли еще Штреккер или нет, стреляют ли где-то фанатики и изуверы — нацисты, не желающие склониться перед очевидностью, — какое ему дело до них? Безразлично ему было и то, что говорят о нем там, в Германии!

Он жив — и это главное. И живы те, кто, не поверив лжи, написанной в его последнем приказе, вырванном у него в минуту душевной слабости, подчинились голосу благоразумия. И это тоже самое главное.

Он выполнил свой долг, и не его вина в том, что отец и мать, все люди, с которыми он сталкивался, и обстоятельства сделали его послушным, послушным даже тогда, когда послушание влекло за собой трагические последствия. Что ж, бывает и так: сколько людей, столько и характеров. Он со своим характером оказался вовлеченным в стихию, где нужно было не послушание, а твердая и жестокая воля, которая продиктовала бы ему единственный выход из положения: не лгать в приказах, не посылать тысячи солдат на смерть.

Но зло, содеянное им, не поправить. Оно всегда, до конца дней, будет лежать тяжелым камнем на его совести.

«Однако, — размышлял генерал-полковник, — лучше, когда человек подвержен укорам совести, нежели циничное равнодушие ко всему на свете, безразличие и душевная пустота насквозь прогнивших политиков, исторгающих истерические фанфаронские вопли».

Ощущение свободы после того, как жестокое бремя спало с его уставших плеч, чувство облегчения после кошмарного сна, как это случается с каждым человеком, придало генерал-полковнику сил; оптимизм, который давно покинул его, вернулся к нему.

Будь что будет. Хуже того, что было — быть не может! Даже если его проведут в цепях по Москве... Что ж, пусть люди бросают ему обвинения и оскорбления в лицо — ведь и он участник вероломства, преступлений и ужасов, смерчем пронесшихся над этой страной.

Пусть будет Сибирь и каторга: и там живут люди, очищая свои души от скверны.

Пусть будет что угодно, но он не услышит больше грохота канонады и предсмертных стонов солдат. И не может быть места более отвратительного, чем этот под-

вал, где он прятался от смерти, зная, что кругом она косит людей своей жестокой косой.

В тиши сибирских лесов или в одиночном каземате он снова обретет ясность мысли и додумает до конца, как ему жить потом.

Паулюс знал, что так, как он жил, жить не будет, не будет и мыслить, как мыслил. Суровый урок, преподанный ему русскими, навсегда отрезвил его, и никакая сила не заставит его быть соучастником новых подлостей и вероломства.

Он шагал по комнатушке с промерзшими стенами, с потеками и изморозью в углах, шептал что-то про себя, и насмешливая улыбка то и дело появлялась на его губах.

Ему было весело! Весело в минуту самого страшного падения! Он поймал себя на этой мысли и рассмеялся, впервые так откровенно радуясь избавлению от всего, что навалила на него жизнь.

В дверь постучали. Вслед за тем в дверном проеме появился русский генерал, показавшийся командующему юношей. Он отдал генерал-полковнику честь. Командующий жестом предложил ему сесть. Помолчав, он вспомнил что-то, пошарил в кармане, вынул маленький, словно игрушечный, браунинг и положил на тумбочку.

— Вот мое оружие, — сказал он весело. — Оно не нужно мне теперь. Впрочем, я не сделал из него ни одного выстрела. Так, игрушка в руках человека, равно как и я, господин генерал, стал игрушкой судьбы.

— Если вас не побеспокоит, сдайте ножи, бритвы и другие режущие предметы, — вежливо сказал представитель советского командования.

Генерал-полковник снова порылся в карманах кителя и положил на тумбочку два перочинных ножа. Русский генерал выжидательно посмотрел на Шмидта.

Тот, побагровев, вынул перочинный нож и визгливо закричал:

— Это безобразие! Неужели вы думаете, что германские генералы станут вскрывать себе вены перочинными ножами? Мы будем жаловаться.

— Я ничего не думаю, — ответил сурово русский генерал. — Извините, но таков порядок, и вы не хуже меня знаете это.

— Порядок! Порядок! — выкрикивал Шмидт.

— Успокойтесь! — Паулюс морщился от визгливых выкриков Шмидта. — Порядок есть порядок. И вы поступили бы так в подобных обстоятельствах.

Шмидт все ворчал что-то под нос. Адам выложил свой перочинный нож. Хайн последовал его примеру.

— Должен ли я сдать бритвенную машинку? — спросил русского генерал-полковник.

— Да нет уж, — ответил тот. — Если господин генерал так разнервничался, я верну ножи ему и вам.

— И если можно, моему ординарцу, — вмешался генерал-полковник. — Этот перочинный нож ему подарил покойный фельдмаршал Рейхенау.

— Возьмите, ладно. Но, господин командующий, прошу вас дать слово, что вы... Одним словом, что вы не попытаетесь...

— Я понял вас, господин генерал. Я мог бы это сделать много раньше. Но не сделал и не сделаю, на что у меня есть свои причины. Мне моя жизнь не так уж дорога. Но она понадобится моей родине. Нет, нет, не думайте, будто я хочу взвалить ответственность только на других и уйти от нее самому.

Молчание.

— Теперь, — заговорил русский генерал, — у меня еще одна просьба. Я прошу отдать приказ командующему северной группировкой генералу Штреккеру немедленно сложить оружие и кончить безрассудное пролитие крови.

Генерал-полковник хотел что-то сказать, но Шмидт перебил его.

— Господин генерал, вы только что объявили нам, что мы пленены шестьдесят четвертой армией, которая дралась с нами начиная от Дона и до Волги. Военнопленные командиры не имеют права отдавать какие-либо приказы, не так ли? — Шмидт зло усмехнулся.

— Но, господин генерал-полковник, подумайте о последствиях!

И тут снова вмешался Шмидт. Наконец-то настал момент, когда он мог бросить на стол карту, которую приберегал для рокового мига.

— «Генерал-полковник» сказали вы? Здесь нет такого!

Паулюс остановил на Шмидте непонимающий взгляд. Адам пожал плечами. Стало очень тихо в комнате и приемной, где собралось порядочно военного народа.

— Позвольте...— начал было командующий.

— Извините, я прерву вас,— с напыщенной торжественностью и очень громко начал Шмидт, очевидно, для того, чтобы его услышали толпившиеся в приемной.— Господин командующий, фюрер прислал радиограмму с приказом о присвоении вам звания генерал-фельдмаршала германской армии. Я не хотел беспокоить вас этим сообщением раньше — вы спали. А теперь рад первым поздравить вас со столь высоким званием. Надеюсь, оно послужит самой надежной охраной вашей личности и всех тех, кто под вашим командованием сражался в этой крепости на Волге.

Генерал-полковник, ожидавший чего угодно, только не этого, сурово молчал.

Адам пожал его руку, свисавшую безжизненно, как безжизненными были глаза новоиспеченного фельдмаршала, обращенные куда-то в неведомое. Хайн вытянулся и отдал шефу честь. Прочие немецкие офицеры сделали то же.

— Это я принял радиограмму,— сказал Эберт.

— Разрешите, господин фельдмаршал? — робко сказал Хайн.— Я умоляю вас сказать русским, что Эберт радист, просто радист и самый безобидный человек в армии.

Фельдмаршал усмехнулся, остальные рассмеялись.

— Какое бы звание ни носил командующий шестой армией,— сказал русский генерал,— его жизнь и безопасность гарантирует наша армия.

«Добрым подарком отметил фюрер мое падение!» — с горечью и отвращением думалось Паулюсу.

— Если бы вчера мне сказали, что сегодня я буду фельдмаршалом, а через считанные часы попаду в плен,— заговорил он, переборов гнев,— я бы сказал: это бывает только в театре. Ну, радуйтесь, Шмидт. Ваша жизнь в безопасности. Ведь вы так хлопотали об этом. Но зачем она нужна вам, ваша жизнь? Ну, хорошо.— Фельдмаршал обернулся к русскому генералу.— Я готов следовать за вами. Куда повезут нас теперь и готова ли клетка для меня?

— Клетка? — не понял генерал. — Какая клетка?

— Я пошутил, — смеясь, ответил фельдмаршал. — Итак, куда меня повезут и кого мне можно взять с собой?

— Сначала вы поедете с нами к командующему шестьдесят четвертой армией. Затем вас направят к командующему Донским фронтом.

Шмидт чуть не подпрыгнул. Теперь ясно — пыток не будет.

— Кого я могу взять с собой? — осведомился фельдмаршал.

— Вы можете взять с собой начальника штаба армии, адъютанта и вообще кого пожелаете.

Как ни отвратительна была фельдмаршалу компания Шмидта, он кивнул в знак согласия, но лишь Хайн заметил недовольную гримасу на его лице.

Хайн понял фразу командующего, обращенную к Шмидту по поводу того, зачем тому нужна его жизнь... Хайн про себя завершил ее: «Ведь теперь, сукин сын, тебе некому будет строчить свои доносы...»

Хайну очень хотелось, чтобы Шмидт был включен в группу, оставшуюся при фельдмаршале. «Уж я попорчу в плену настроение этой гадине, если фельдмаршал возьмет меня с собой, — злорадно размышлял Хайн. — Уж там, гнусная падаль, ты ответишь за все: и за девчонку из Ганновера, растленную тобой, и за гуся, и за штрафную роту, и за твои доносы...»

Он бросил шефу умоляющий взгляд. Тот кивнул:

— Я бы хотел иметь с собой, кроме начальника штаба и адъютанта, господин генерал, врача и ординарца Хайна. Вот этого медвежонка. — Паулюс ласково посмотрел на сиявшего Хайна.

Генерал кивнул. Когда вопрос о Хайне был улажен, фельдмаршал снова обратился к русскому генералу:

— Не хотите ли позавтракать со мной?

— Спасибо, я сыт. Впрочем, ладно. Не каждый день приходится завтракать с фельдмаршалами, которых берешь в плен.

Хайн принес завтрак: четыре кусочка суррогатного черного хлеба, тускло намазанных маргарином, и еще

четыре — с тонкими ломтиками конины. В двух крохотных чашках дымилось суррогатное кофе.

— Ну, — замахал руками русский генерал, — это не для меня. Отдайте, господин фельдмаршал, мою долю ординарцу.

Адам пошарил в карманах, сигарет не было. Переводчик, советский офицер, вынул портсигар, щелкнул им, предложил Адаму сигарету.

Русский генерал взглянул на часы:

— Господин генерал-фельдмаршал, мне пора к генералу Роске.

— Да, да, там уже все готово! — подхватил Шмидт с невиданным оживлением. — Приказы напечатаны, их уже развозят по дивизиям. Вы можете принимать оружие у наших частей.

— Думаю, вам хватит часа на сборы, господин генерал-фельдмаршал?

— Разумеется, разумеется, — снова заспешил Шмидт: ему не хотелось оставаться здесь ни минуты. Скорее под охрану русского командующего, скорее в штаб фронта.

Выйдя в приемную, Шмидт остановил русского генерала.

— Умоляю вас, не можете ли вы разоружить офицеров, охранявших нашу ставку, так, чтобы фельдмаршал не видел этой процедуры? Его сердце не выдержит подобного зрелища.

— Ну ладно, — рассмеялся генерал. — Так и быть, побережем сердце фельдмаршала. — Он отлично понимал, почему Шмидт заговорил на эту тему: немец еще побаивался расправы, а вооруженная охрана как-никак гарантия от возможных неприятностей.

Хайн принялся упаковывать вещи фельдмаршала. Адам и Шмидт вскоре вернулись в комнату командующего. Адам раздобыл у какого-то русского офицера фронтовую газету.

— Здесь уже сообщено о нашем пленении и трофеях. Обратите внимание на количество танков.

— Не может быть! — Шмидт помотал головой. — У нас было гораздо меньше танков.

— А кто их считал! — Фельдмаршал выглянул в окно и улыбнулся. — Русские солдаты и офицеры заглядывают сюда. Видимо, им очень интересно знать, каков-

то пленный германский фельдмаршал. А он отличается от остальных пленных только высоким званием.

— М-да! — неопределенно буркнул Шмидт. — Странно, что русские не поставили охраны к окну и к вашим дверям, господин фельдмаршал.

— Потому что они знают, что мы никуда не убежим, — под общий смех ответил Адам.

— Правильно, Адам! Не знаю, но у меня такое чувство, будто я вовсе не в тюрьме и не в плену. Этот русский генерал очень предупредительный человек, не правда ли, Адам?

— Так точно, эччеленца.

— Он, должно быть, не комиссар, — сказал Хайн.

— Да, но мне было ужасно противно, когда он выуживал у вас приказ Штреккеру, господин фельдмаршал, — сказал Шмидт. — Никто из нас не будет отвечать на вопросы, относящиеся к ведению верховного главнокомандования. Это им не восемнадцатый год, когда кричали, что Германия — одно, правительство — другое, армия — третье...

— Вполне согласен с вами, Шмидт. Разумеется, сейчас Германия едина и бог знает как обожает фюрера. Особенно глубоко это чувство заявит о себе, когда народу будет сказано о гибели громадной армии на Волге. Фюрер не оберется оваций, — сказал Адам с веселой искоркой в глазах.

Шмидт предпочел не заметить усмешки, мелькнувшей на губах фельдмаршала. Да если бы и заметил, донос послать не с кем.

— Интересно, как история осветит эту часть нашей кампании в России, — заговорил он после молчания. — Конечно, объективного толкования быть не может, как нет объективного изложения мировой истории. Кстати, русские журналисты тут как тут — их полно у Роске. Уж они-то по-своему разрисуют битву на Волге и нашу оборону. Я немецких журналистов не перевариваю, а тут русские... Отвратительно! Какой-то сочинитель или репортер приставал ко мне с вопросами... В полушубке, со знаками отличия подполковника. Гнусная курносая морда. Что-то чиркал в записную книжку и фотографировал всех подряд. Я отвернулся, когда он хотел сфотографировать меня.

— Напрасно! — Адам фыркнул. — Вы увековечили бы себя для истории.

...Через час Хайн нагружал чемоданами грузовую машину. Шмидт вертелся возле него, проверял и пересчитывал свои вещи. По двору слонялись пленные офицеры. Один из них переходил от одной группы к другой и повторял:

— Ничего, не надо нервничать. Главное — все живы. — И с этими словами шел к другой группе. Никто не обращал на него внимания, потому что всех забавляли прыжки Шмидта у грузовика.

— Шмидт тоже попался! — крикнул кто-то.

— Поглядите, он танцует от радости, что его шкура уцелела! — подхватил какой-то полковник. Прочие смеялись до упаду.

— Идиоты, — прошипел Шмидт.

К нему подошел румынский майор и на ломаном немецком языке спросил, не знает ли господин генерал, в плену Папеску или нет.

— Идите вы к черту! — разозлился Шмидт.

— Зачем же вы ругаетесь, господин генерал? — обиделся майор. — Ведь я просто хочу узнать, в плену ли Папеску.

— А я вам ответил, идите к черту.

— Это я слышал. Но Папеску в плену или нет?

Пленные офицеры, наблюдавшие эту сцену, так и покатились со смеху.

Разогрев давно стоявший на приколе «штейер» командующего, Хайн доложил ему, что к отъезду все готово. Шмидт уже сидел в машине, когда появился фельдмаршал, встреченный торжественным молчанием.

Отдав честь офицерам, он устроился рядом со Шмидтом на заднем сиденье. Адам подсел к Хайну. Тот дал сигнал, и машина выехала со двора. За ней шли машины с советскими офицерами.

Усевшись поудобнее, фельдмаршал глубоко вдохнул морозный воздух.

Машина ползла мимо руин некогда громадного и цветущего города, по площадям и улицам, минуя надолбы, проволочные заграждения, развороченные доты, обходя бомбовые воронки.

Куда ни взгляни — трупы, трупы, лежавшие в разных позах, а в некоторых местах навалом, как в той яме. На карачках ползли раненые. Санитары, еле передвигая ногами, подбирали тех, кто еще дышал.

И всюду лужи крови, месиво человеческого мяса, брошенное оружие, разбитые танки и опять трупы. Это было страшно, но фельдмаршал заставлял себя не отворачиваться: впервые он видел итог битвы, ставшей более знаменитой, чем Фермопилы, Канны, Верден...

Машина выехала за город. Огромной черной змеей вилась по дороге бесконечная, пропадавшая за пригорками колонна военнопленных.

Оборванные, со струпьями на черных лицах, укутанные с ног до головы во что попало, втянув головы в плечи, брели солдаты разгромленной армии.

Солдаты оборачивались и смотрели на машину с откинутым верхом. Многие из них никогда не видели командующего армией. Лишь кое-кто из офицеров приветствовал его.

«Обреченные на смерть салютуют тебе, Цезарь!» — вспомнилось фельдмаршалу. Ему казалось, что он принимает последний призрачный парад призрачного войска; бессмысленными приказами он посылал его в бессмысленные бои.

Пронзительный, дико свистящий ветер бушевал на равнине. Пленные отворачивались от бури, несущей колючий снег, плотнее кутались в тряпье, размахивали руками, чтобы согреться, падали и умирали, а те, кто шли следом, словно стая воронов, набрасывались на умерших, сдирали с них шинели, шарфы, перчатки и плелись дальше под завывание пурги, чтобы в свою очередь упасть, замерзнуть и быть раздетыми догола.

На окраине города фельдмаршал увидел старика, который водил его к яме. В том же рваном ватнике, в наспех залатанных штанах, в валенках, обклеенных красной резиной от автомобильной камеры, он стоял на обочине дороги и с укором смотрел на колонны пленных, бредущих по заснеженной степи.

Фельдмаршал отвернулся. Горло его свела судорога. Еще ниже нахлобучив шапку на лоб, он отодвинулся от Шмидта, насвистывающего какую-то веселую мелодию. Фельдмаршалу вдруг страстно захотелось отпу-

стить ему пощечину, такую же звонкую, какую он отпустил Хайну около ямы.

Но он подавил в себе это искушение.

«Ничего, — думал фельдмаршал, — уж он-то ответит!»

Все свирепее становился буран, все более дико выл и визжал ветер. И вспомнились фельдмаршалу слова старика о беспощадном норове степных бурь и о русском характере, добродушном в повседневности, твердом как скала в дни испытаний, страшном, когда он взлютует.

Фельдмаршал всмотрелся в лица советских солдат, сопровождавших пленных. Они шли как ни в чем не бывало, и, хотя им тоже доставалось от пронзительного ветра, они не сдавались перед ледяным дыханием степи, как не сдали города на Волге и не ушли на ее левый берег. Они знали, что там нет земли для их могил...

«Так в чем же дело? — рассуждал про себя фельдмаршал. — В чем крылась главная ошибка наших расчетов? В потенциальной военной силе Советов? Да, не учли и ее. Как много было криков о «колоссе на глиняных ногах»! Но почему ж он не упал под нашими ударами первых месяцев войны? Ведь должен же я хотя бы себе ответить на этот вопрос... Да и только ли себе? Ответ на него в интересах немецкого народа — ему ведь надо избавляться от погибельного прошлого, ему надо оправдать себя, чтобы мирно, по-соседски дружно жить с другими народами!

Нет, и все-таки не в том был главный просчет! Очевидно, он в той загадке русской души, над которой так бьются многочисленные писатели и исследователи России, старой и новой, очевидно, в том наш просчет, что мы слишком поверили писакам и пропагандистам, отрицавшим единство советских людей, народов, населяющих эту необозримую территорию, где — и это так же очевидно — завязнет и погибнет любой, кто попытается сокрушить их...

Вот я теперь возлагаю ответственность только на фюрера и его советников, точно так же, как виню за разгром моей армии только какие-то чисто военные промахи всех, кто окружает фюрера. Но так ли это? Раздумывал ли я сам глубоко, работая над планом втор-

жения, о возможности гибельных последствий для народа?

И каков же теперь будет мой путь? Что скажу я, когда спросят меня: была ли у вас голова на плечах, когда во имя подчинения ничтожествам вы лили и лили кровь?»

Он не находил ответа. Выпрямившись, не глядя по сторонам, фельдмаршал смотрел в даль, затянутую морозной мглой... Мутной мглой было затянуто его будущее. Он знал теперь только одно: с русскими людьми нельзя воевать. Никому. Никогда. Ибо нет силы, которая согнула бы их волю, опустошила бы их сердца и души.

Переделкино—Москва
1961—1962

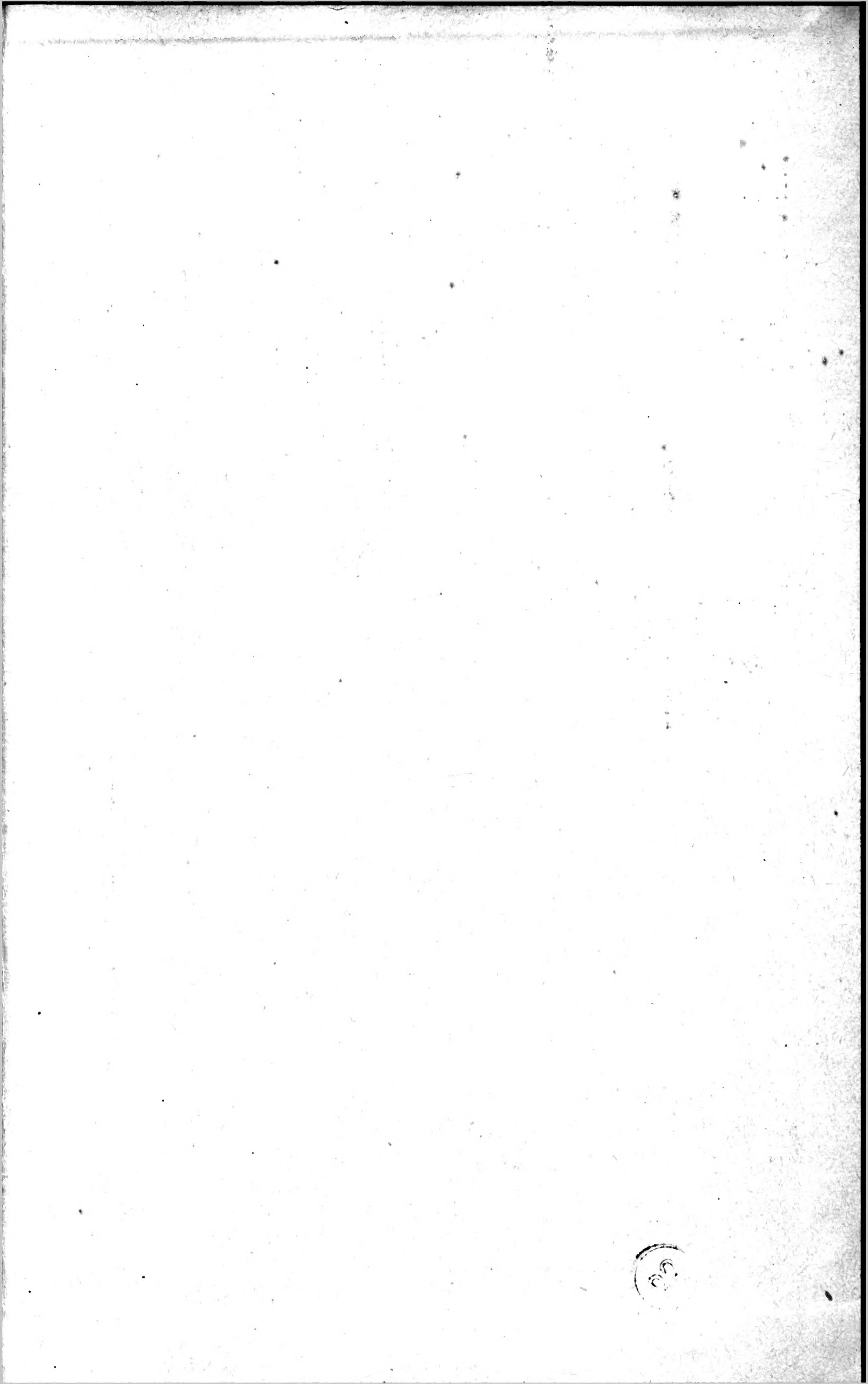
Николай Евгеньевич Вирта родился в 1906 году в одном из сел на юге Тамбовской области; детские и юношеские годы он провел в деревне.

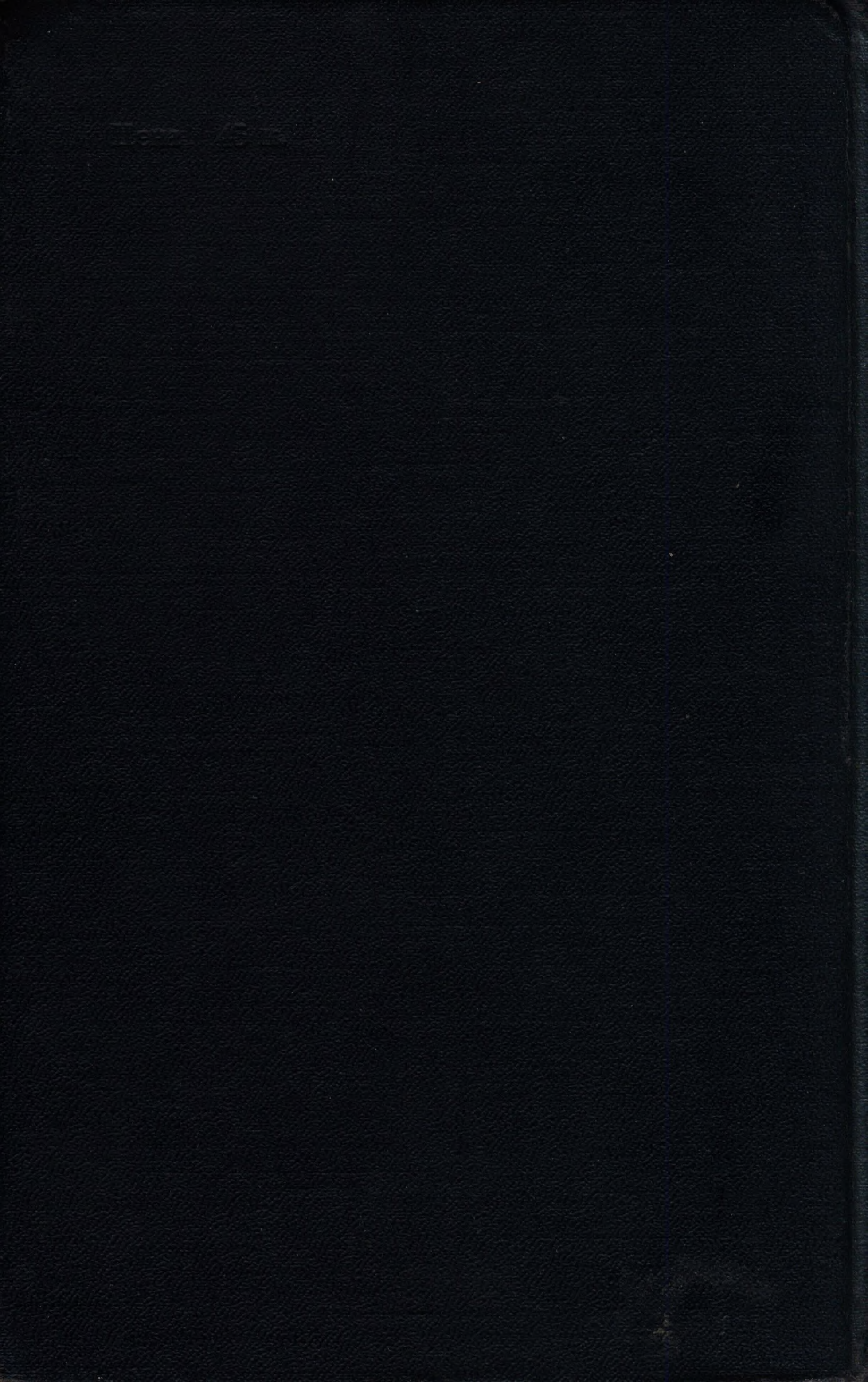
В пятнадцать лет он остался сиротой и старшим в семье. Работал пастухом, писарем сельского совета, учил детей лесника, сам учась в Тамбовской школе второй ступени. Еще там были замечены его наклонности к литературе. В 1923 году, работая репортером газеты «Тамбовская правда», начал писать рассказы главным образом о сельской жизни. Они печатались в литературном приложении к газете. В 1925 году, работая в «Северной правде» (г. Кострома), Н. Вирта печатался в литературном журнале и редактировал юмористический журнал «Шмель». В тридцатые годы, после работы в Шуе, Саратове и Дагестане, Н. Вирта переехал в Москву и здесь, сотрудничая в газете «Труд» и других, напечатал свой первый роман «Одиночество» (1935 г.). Через два года появился его второй роман — «Закономерность». В последующие годы им написаны романы «Вечерний звон», «Крутые горы», повести «Наша Берта», «Аграфена Капитоновна», «Жизнеописание Остапа Чуба», роман «Возвращенная земля», несколько детских книжек. Им же написаны пьесы «Земля», «Клевета», «Мой друг полковник», «Солдатские женки», «Хлеб наш насущный», «Заговор обреченных», «Три года спустя», «Дали неоглядные», «Три камня веры», «Чешский лес», «Летом небо высокое», «Утюжок», «Желанная», «Кружатся, кружатся ветры...» и много рассказов и очерков. По его сценариям поставлены два кинофильма. В настоящее время Одесская киностудия ставит двухсерийный широкоэкранный фильм «Одиночество».

За успешную литературную работу Н. Вирта награжден орденом Ленина. Он четырежды лауреат Государственной премии.

Н. Вирта участвовал в качестве военного корреспондента центральных газет в финской кампании и в Великой Отечественной войне на Северном фронте и был свидетелем финала великой битвы на Волге.

В настоящее время он пишет роман «Быстробегущая тень» — о наших современниках.






Н. ВИРТА • КАТАСТРОФА